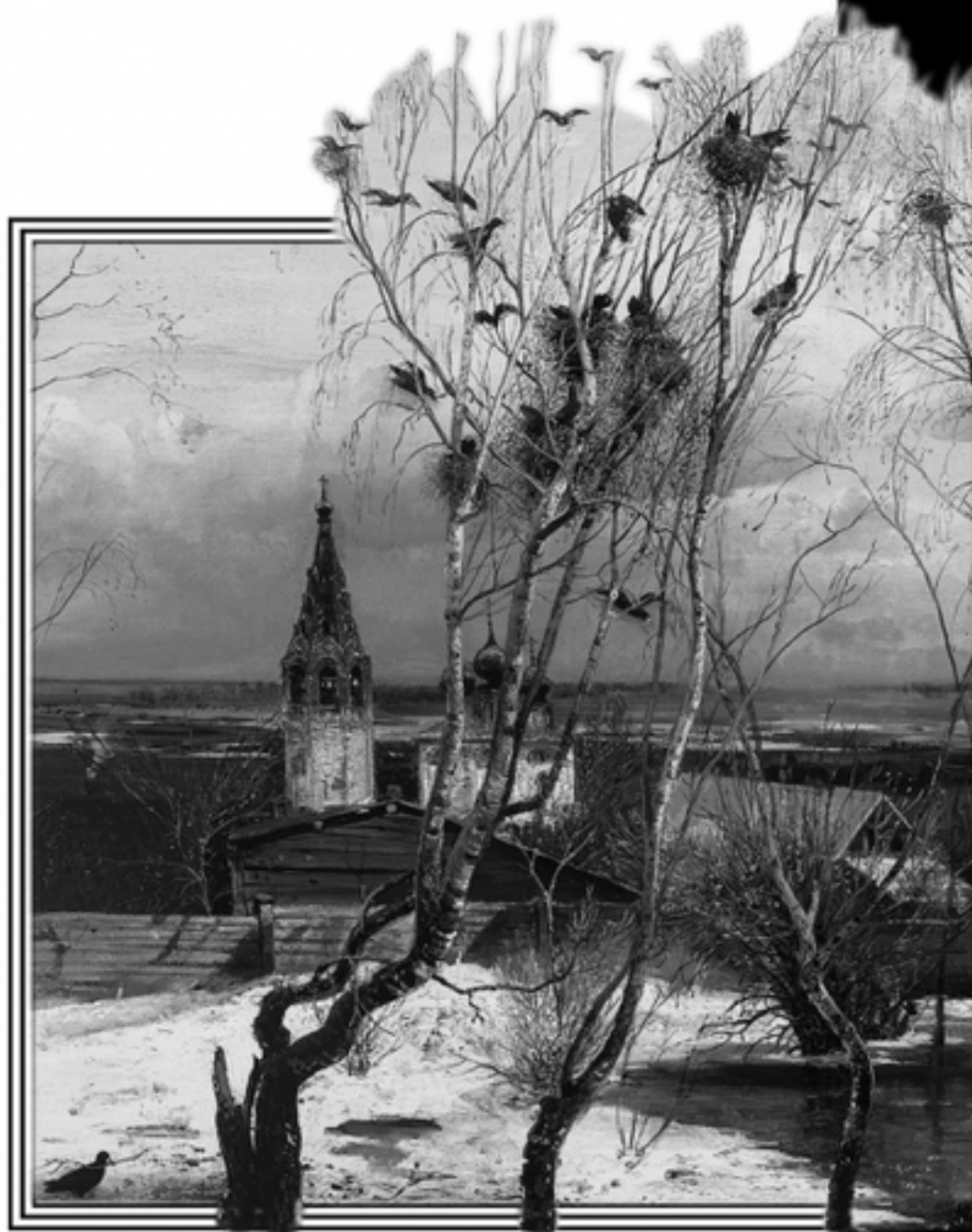


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Константин А. Богданов



ПЕРЕМЕННЫЕ
ВЕЛИЧИНЫ

Погода русской истории и другие сюжеты

Константин Богданов

**Переменные величины.
Погода русской истории
и другие сюжеты**

«НЛО»

Богданов К. А.

Переменные величины. Погода русской истории и другие сюжеты / К. А. Богданов — «НЛО»,

История, по мнению автора, не дана нам как целое, но может быть представлена в частностях — как серия фрагментов ускользающего текста о знаниях и эмоциях, идеях и событиях, болезнях и снах, памяти и воображении. Выбор таких фрагментов теоретически безграничен, но, будучи сделанным, ведет к социальной прагматике — осознанию условностей исторического опыта, «переменных величин» внешнего принуждения и внутренней свободы. В настоящей книге история русской культуры складывается из исследований по теории историографии, филологической антропологии, истории литературно-публицистических дискуссий, социалингвистики, историософии климата и истории медицины.

© Богданов К. А.

© НЛО

Содержание

Предисловие	5
АНТРОПОЛОГИЯ КОНТЕКСТА. К ИСТОРИИ «ОБЩЕПОНЯТНЫХ ПОНЯТИЙ» В ФИЛОЛОГИИ	19
РИТОРИКА ВОСТОРГА И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Константин А. Богданов

Переменные величины. Погода русской истории и другие сюжеты

Предисловие

Историческая эпистемология, дидактика фрагмента и пространство воображения

Omnia mutantur (Ovid. Metamorphoses. XV, 165)

*Действия цензуры превосходят всякое вероятие. <...> Цензор
Ахманов остановил печатание одной арифметики, потому что между
цифрами какой-то задачи там помещен ряд точек. Он подозревает
здесь какой-то умысел составителя арифметики.*

А.В. Никитенко. Запись в дневнике от 25 февраля 1852 года¹

1.

Греческое слово «история» подразумевает нечто установленное. Это не просто рассказ о чем-то, но и то, что за ним стоит, — череда состоявшихся событий и поступков, ситуаций и обстоятельств, причин и следствий. Так, благодаря Геродоту история выделилась из логографии, но и благодаря ему же обрела метафизическую перспективу, обнаруживающую конфликтное сосуществование исторического нарратива и истории «как таковой». В этом конфликте история «существует сама по себе», она онтологична, но феноменологически «схватывается» нами в ограничениях когнитивного и дискурсивного опыта, ее целостность суммируется из фрагментов *антропологически* разрозненного знания, которое уже поэтому не свободно от мнения и воображения. У истории, говоря проще, есть свои истории, history обязывает к stories, но поэтому же: любая история, о которой «идет речь», всегда есть история так или иначе воображаемая. Это не значит, что она вымышленна и фиктивна, но значит лишь то, что ее репрезентация предопределена неизбежной *выборочностью* приемов самой этой репрезентации².

В ретроспективе методологических споров о необходимых и достаточных правилах историографического описания известен запальчивый протест Люсьена Февра, одного из

¹ Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 362.

² Литература о роли воображения как одном из условий исторической эпистемологии обширна; важные работы, акцентирующие в данном случае дидактические аспекты преподавания истории: Atkinson R.F. Knowledge and Explanation in History. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1978; Fogel R., Elton G.R. Which Road to the Past? New Haven: Yale University Press, 1983; Tosh J. The Pursuit of History. London: Longman Group Ltd., 1984; Stone L. The Past and the Present revisited. London: Routledge & Kegan Paul, 1987; Ankersmit F.R. Historiography and Postmodernism // History and Theory. 1989. Vol. 29. P. 137—153; Ermarth E.D. Sequel to History: Postmodernism and the Crisis of Historical Time. Princeton: Princeton University Press, 1992; Bermejo-Barrera J.C. Explicating the Past: In Praise of History // History and Theory. 1993. Vol. 31. P. 14—24; Levstik L.S., Barton K.C. Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, 1997; Seixas P. The Place of the Disciplines within Social Studies: The Case of History // Trends and Issues in Canadian Social Studies / Ed. I. Wright and A. Sears. Vancouver: Pacific Educational Press, 1997. P. 116—129; Idem. Beyond content and pedagogy: In search of a way to talk about history education // Journal of Curriculum Studies. 1999. Vol. 31. P. 317—337; Weinburg S. Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. Philadelphia: Temple UP, 2001.

основоположников школы «Анналов», направленный против «комодной» историографии Шарля Сеньобоса и П.Н. Милюкова. Отзываясь об изданном в 1932 году под редакцией Сеньобоса и Милюкова трехтомнике «История России с древнейших времен до 1918 г.», Февр считал его исследовательским анахронизмом, подменяющим действительную историю России сведениями, сгруппированными по разрозненным критериям социального, экономического, политического и культурного порядка. Такое изложение исторического материала Февр назвал «комодным»:

«Так мещанские семейки рассовывают свои вещи по ящикам добрых старых комодов красного дерева. До чего же удобно, до чего практично! В верхнем ящике – политика: “внутренняя” – справа, “внешняя” – слева, никогда не спутаешь. Следующий ящик: в правом углу – “народные движения”, в левом — “организация общества”. В третьем ящике в “Истории России” располагаются пресловутые три старушки, три, так сказать, сводные сестрички: Сельское хозяйство, Промышленность и Торговля. А за ними следуют Литература и Искусство»³.

По мысли самого Февра, надлежащее изложение истории России требует иной оптики и иного анализа, преодолевающего мелкоотъемье разрозненных исторических фактов. Требует оно, как это вычитывается из той же статьи, и иного пафоса:

«Вот что важнее всего: перед нами Россия. Я не видел ее собственными глазами, специально не занимался ее изучением и все же полагаю, что Россия, необъятная Россия, помещицья и мужицкая, феодальная и православная, традиционная и революционная, – это нечто огромное и могучее. А когда я открываю «Историю России», передо мной мельтешат придурковатые цари, словно сошедшие со страниц «Короля Убю», взяточники-министры, попугаи-чиновники, бесконечные указы и приказы... Где же сильная, самобытная и глубокая жизнь этой страны; жизнь леса и степи; приливы и отливы непоседливого населения, великий людской поток, с перебоями хлещущий через Уральскую гряду и растекающийся по Сибири вплоть до Дальнего Востока; могучая жизнь рек, рыбаков, лодочников, речные перевозки; трудовые навыки крестьян, их орудия и техника, севообороты, пастбища; лесные разработки и роль леса в русской жизни; ведение хозяйства в крупных усадьбах; помещичье землевладение и образ жизни знати; зарождение городов, их происхождение, развитие, их управление и внешний облик; большие русские ярмарки; неспешное формирование того, что мы называем буржуазией. Но была ли она когда-нибудь в России? Осознание всем этим людям России как некоего единства – какие именно образы и какого порядка при этом возникают? Этнические? Территориальные? Политические? Роль православной веры в жизни русской общности и, если такое иногда случается (а если нет – оговоритесь), в формировании отдельных личностей; лингвистические проблемы, региональные противоречия и их причины – да мало ли еще чего? <...> Так с какой же стати меня пичкают всяким анекдотическим вздором о госпоже Крюденер и ее отношениях с Александром; о той царице, что была дочерью корчмаря, и о той, что чересчур увлекалась молодыми людьми? Нет, все это отнюдь не история...»⁴

Итак, создание «большой», целостной истории России мыслится Февром как исследовательский синтез, не опускающийся до «анекдотического вздора». Позднее историки-анналисты будут охотно писать, что методологическим условием синтезирующей историографии служит привлечение данных из самых разных отраслей знания – от демографии и религиоведения до лингвистики и политической экономии, и создание особого исторического нарратива, способного объединить собою «науки о человеке»⁵. Вместе с тем харак-

³ Февр Л. История современной России (1933) // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 64.

⁴ Февр Л. История современной России. С. 64–65.

⁵ Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993.

терно, что энтузиастическое доверие к достоинствам междисциплинарного подхода никак не отменило проблемы выбора, а главное – эмоционального и «иммагинативного» контекста, предпосылочно связующего отдельные детали в целостную картину. Современник Февра Робин Коллингвуд, рассуждавший по другую сторону Ла-Манша о работе историка, подчеркивал определяющую роль, которую играет в ней помимо знания и критического метода «априорное воображение» (понятие, отсылающее к проанализированному Кантом характеру перцептивного воображения, позволяющего нам судить о невоспринимаемых фактически объектах):

«Историческое мышление представляет собою ту деятельность воображения, с помощью которой мы пытаемся наполнить внутреннюю идею конкретным содержанием. А это мы делаем, используя настоящее как свидетельство его собственного прошлого. Каждое настоящее располагает собственным прошлым, и любая реконструкция в воображении прошлого нацелена на реконструкцию прошлого этого настоящего, настоящего, в котором происходит акт воображения, настоящего, воспринимаемого здесь-и-теперь. <...> В принципе целью любого такого акта является использование всей совокупности воспринимаемого здесь и теперь в качестве исходного материала для построения логического вывода об историческом прошлом, развитие которого и привело к его возникновению. На практике, однако, эта цель никогда не может быть достигнута. Воспринимаемое здесь-и-теперь никогда не может быть воспринято и тем более объяснено во всей его целостности, а бесконечное прошлое никогда не может быть схвачено целиком»⁶.

Идея исторической целостности нереализуема, но представима в воображении как цель и взаимосвязь исторического материала, понимается ли последний только в ретроспективном ограничении или, как на том настаивает Коллингвуд, также в его «пространственно-темпоральной» современности. Для Февра, никогда не бывавшего в России и ею не занимавшегося, важно убеждение в том, что Россия – «это нечто огромное и могучее». «Комодные» сведения о «придурковатых царях», «взяточниках-министрах, попугаях-чиновниках, бесконечных указах и приказах» отвлекают от чаемого и предвосхищаемого Февром образа «сильной, самобытной и глубокой жизни этой страны». Но вот вопрос: откуда Февр почерпнул свой образ России за неимением у него под руками ее «не комодной» истории? Выясняется, что наличие анекдотов о Крюденер и любвеобильной императрице не препятствуют историческому воображению, в котором такие анекдоты не играют заметной роли? Но ведь резонно задуматься и над тем, чему приписать сохранность и актуальность тех же анекдотов в глазах других историков (престарелый Милюков, выбранный Февром в качестве критической мишени, был в этом случае как раз историком, принципиально уделявшим особое внимание исключительной разноплановости исторической действительности)⁷. У этого вопроса есть и своя дидактическая составляющая, заключающаяся в том, что пафос исторического синтеза по своей сути роднит и обезличивает *все отдельные* истории. Чему может научить «целостная» история, если любые доводы, сколь бы убедительно они ни были представлены в своей условной совокупности, меркнут перед пафосом позитивной целостности? Мой ответ: ничему⁸. Таково ценностное восприятие исторического процесса, искушающего

⁶ Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 235—236.

⁷ Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни (1859—1904). Рязань, 2001; Дорохов В.Н. Исторические взгляды П.Н. Милюкова. Сергиев Посад, 2005.

⁸ О том, к каким дидактическим парадоксам приводит апелляция к диалектически «целостной» истории, можно судить по сравнительно давней, но актуальной по своим педагогическим последствиям дискуссии, инициированной пожеланиями президента В.В. Путина о необходимости новых учебников отечественной истории, должных удовлетворять ветеранов и воспитывать молодежь в патриотическом духе: «В этих учебниках должны излагаться факты истории, они должны воспитывать чувство гордости за свою историю, за свою страну» (<http://www.polit.ru/news/2003/11/27/630180.html>). Нетривиальная формула «объективно, чтобы позитивно» стала стимулом к изъятию из учебного процесса пособий для старшеклассников А. Долуцкого, подготовленных еще в 1990-х годах, но показавшихся слишком «скептическими» к базовым ценностям

оптимизмом до тех пор, пока этот процесс связывается не с различными историями (и рассказами о таких историях), а с историей «как таковой».

Реконструкция прошлого, каким оно предстает в его дискурсивном выражении, а не, предположим, в бессловесности мистического самоозарения, по необходимости имеет дело с фрагментами абстрактного целого. Но является ли оно при этом недостаточным по отношению к этому целому? Что определяет собой нашу собственную вовлеченность в историю на правах равновеликой ей величины? У меня нет ответа на этот вопрос. «Фрагментарная история» – это история событий, людей, предметов, идей и образов, востребованная в своей ретроспективной упорядоченности. Научно-дисциплинарное и жанровое многообразие исследований, посвященных такого рода историям – будь это биография, история войн или история промысла трески, – свидетельствует не только о множестве фрагментов Большой истории, но об условности представления о самой этой Большой истории. Существует ли критерий, препятствующий представлению о любой Большой истории как фрагменте Еще-Более-Большой истории – истории человечества, природы, мироздания? Дидактический ресурс воображения, ответственного за связность и правдоподобие исторической репрезентации, ограничен в этих случаях условностями метода, в настоящем случае – метода вычитывания и сопоставления сведений из источников преимущественно литературного и «окололитературного» характера. Порядок извлекаемых при этом фактов диктуется филологическим подходом – интересом к тому, *что, когда, как и кем* написано, сказано, – и (как можно думать) умалчивается в цитируемых и упоминаемых ниже текстах. Подобный метод, свойственный гуманитарному знанию в целом, служит предметом неизбывной иронии со стороны представителей точных и естественных наук. Один из характерных отзывов *cum grano salis* приписывается Эрнесту Резерфорду, сказавшему как-то, что «все науки делятся на физику и коллекционирование марок» («All science is either physics or stamp collecting»)⁹. Резерфорд прав: исследовательская работа в сфере гуманитарного знания сродни коллекционированию, но ее результаты обладают уже тем (по меньшей мере дидактическим) значением, что они могут быть поняты как прагматически целесообразные – недаром академик И.П. Павлов полагал, что коллекционирование выражает собой пример «рефлекса цели»¹⁰. «Рефлекс цели», представляющий, по Павлову, один из основных жизненных двигателей человека, проявляется в интересе, то есть в стремлении к тому, что кажется важным и имеющим значение (лат. *impers.*: *interest*). И симптоматично, что в ретроспективе научного познания такое стремление изначально соотносилось именно с «филологией» – со словом, подразумевавшим некое ученое «любословие» и любопытство вообще: по сообщению Светония, упоминающему в трактате «О грамматиках» о Луции Атее Филологе, «имя Филолога, как кажется, он принял потому, что подобно Эратосфену, впервые удостоен-

нового режима, и распространению «патриотических» учебников по российской истории под редакцией А.Н. Сахарова и А.В. Филиппова, апеллирующих к телеологическим детерминантам российской истории, духовным «константам» российского менталитета и т.д. (Свешиников А. Борьба вокруг школьных учебников истории в постсоветской России: основные тенденции и результаты // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2004. № 4. С. 70–77; Ферретти М. Обретенная идентичность. Новая «официальная история» путинской России // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2004. № 4. С. 78–85). В докладе «Интимная историография: Путин, школа “Анналов” и особенности национальной риторики», прочитанном на конференции «Конструирование уходящего: 1990–2000-е годы как объект исследования» (XV Банные чтения, Москва, 2007 год), посвященном непреднамеренной связи методологической концепции школы «Анналов» и руководящих суждений о российской истории президента Путина, я также оспаривал озвученный в докладе Х.У. Гумбрехта «Что сегодня является современностью» тезис об исчерпанности историко-дидактического дискурса (хроника конференции: Дмитриев А., Кукулин И. «Конструирование уходящего: 1990–2000-е годы как объект исследования». XV Банные чтения // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/dm37-pr.html>).

⁹ Backett [P.M.S.] *Memories of Rutherford* // *Rutherford at Manchester* / Ed. J.B. Birks. New York: W.A. Benjamin Inc., 1963. P. 108. Сам Резерфорд получил в 1908 году Нобелевскую премию по химии.

¹⁰ Майоров Ф.П. История учения об условных рефлексах. Опыт работы Павловской школы по изучению высшего отдела головного мозга. М.: Изд-во АМН СССР, 1948. С. 124.

ному этого прозвища, занимался многими и разнообразными науками»¹¹. Развитие не только гуманитарных, но и также точных и естественных наук амплифицирует, «распространяет», с этой точки зрения, «филологическое» любопытство – любопытство к тому, что достойно упоминания и обсуждения. И это же любопытство является основанием общенаучного «коллекционирования».

«Коллекции» «фактов», предъявляемых исследователями-гуманитариями, отличны от «фактов», предъявляемых представителями точных и естественных наук, но в любом случае сами эти «факты» обнаруживают свою сконструированность и указывают на тех, кто их формулирует: «Мы, – говоря словами Сьюзан Лангер, – вероятно, согласимся в главном: факт – это интеллектуально сформулированное событие, формулируется ли оно в процессе чистого наблюдения, словесного истолкования или ответного действия»¹². Ограниченное словом, текстом, «дискурсом», предъявление фактов не является в этом смысле ни исчерпывающим, ни однозначно истинным. Рене Декарт, разрабатывая методологию научного познания и предвзято метафизику Нового времени, не случайно предупреждал в своих «Правилах для руководства ума», что в ряду всех научных дисциплин «только арифметика и геометрия остаются не тронутыми никаким пороком лжи и недостоверности» (из чего, впрочем, «следует заключить не то, что надо изучать лишь арифметику и геометрию, но только то, что ищущие прямой путь к истине не должны заниматься никаким предметом, относительно которого они не могут обладать достоверностью, равной достоверности арифметических и геометрических доказательств»)¹³. Позже преклонение перед математикой, геометрией и вообще арифмологически формализуемыми силлогизмами проповедовали Б. Спиноза (избравший для изложения своей «Этики» язык и метод геометрических доказательств), Г. Лейбниц, Н. Мальбранш и многие другие философы – вплоть до И. Канта, а девизом английского Королевского общества с 1662 года стал призыв «Nullius in verba» – «Ничего на словах».

Но пройдет время, и критика математики как науки, в наибольшей степени приближенной к постижению истины, будет высказана из лагеря тех же философов. О доказательных преимуществах философии (как учения о всех прочих науках, *Wissenschaftslehre*) перед математикой пишет Фихте. По рассуждению Гегеля, математика не может служить основой методологического знания уже потому, что

«движение математического доказательства не принадлежит тому, что есть предмет, а есть действие, по отношению к существу дела внешнее. <...> В философском понимании становление наличного бытия как наличного бытия также отличается от становления сущности или внутренней природы дела. Но философское познание содержит и то и другое, тогда как математическое познание изображает только становление наличного бытия, т.е. бытия природы дела в познании как таковом»¹⁴.

Суть недостаточности математики как объяснительной методологии состоит, таким образом, в том, что математика имеет дело с пропозициями, которые показывают представленность предмета в сознании исследователя, но не предмет, как таковой. Но и более того, математическая представленность предмета по необходимости выражается как величина, которая, собственно, и составляет «цель математики или ее понятие». Но для постижения сути предмета, по Гегелю, «это есть как раз несущественное, лишенное понятия отношение. <...> Материал, относительно которого математика обеспечивает относительный запас

¹¹ De grammat. et rhetor, 10.

¹² Longer S.K. *Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art*. Cambridge (Mass.), 1976. P. 26. См. также: Koesler A. *The Act of Creation*. London, 1969. P. 377; Bateson G. *Steps to an Ecology of Mind*. New York, 1972. P. XVI ff.; Чудинов Э.М. *Природа научной истины*. М., 1977. С. 56; Фейерабенд К. *Избранные труды по методологии науки*. М., 1986. С. 149.

¹³ Декарт Р. *Сочинения*: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 81, 82.

¹⁴ Гегель Г.В.Ф. *Феноменология духа*. СПб., 1994. С. 22.

истин есть пространство и счетная единица», но никак не понятие предмета, которое вписывает в наличное бытие свои различия и уже потому первично к любому предмету. Будучи понятием математики, счетная единица не есть понятие предмета, поэтому и само математическое познание поверхностно и «не касается самой сути дела», «не есть постигание в понятии»¹⁵.

2.

Филология, как и история, не ставит перед собой философских задач «касаться самой сути дела» и «постигания в понятии». Однако, подобно математике, они также демонстрируют «представленность предмета в сознании исследователя». Декарт, введший в математику понятия переменной величины, продемонстрировал, каким образом геометрические задачи могут быть переведены на алгебраический язык. Выяснилось, что одни и те же величины зависят от условий вопроса – постоянные в одном вопросе, они становятся переменными – в другом (так, температура кипения воды в большинстве физических вопросов – величина постоянная, $T = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, однако в тех вопросах, где следует считаться с изменением атмосферного давления, T величина переменная). В своем трансцендентном смысле переменная может принимать бесконечное множество значений и бесконечное разнообразие соотносимых с ними конкретных примеров, что само по себе не тривиально и психологически драматично, так как ставит под вопрос саму идею постоянства и неизменности¹⁶. Неудивительно, что использование математических понятий при решении задач, выходящих за пределы математики, не миновало филологической, исторической и, в частности, теологической контекстуализации, утверждающей неотменяемость постоянных величин. Таковы, например, старинные опыты экзегетического истолкования геометрических аксиом (в которых сегодня можно увидеть предвосхищение идей алгебраической геометрии об аналогиях между числами и функциями):

«В математике содержатся превосходные подобия священных истин, христианскою верою возвешаемых. Например, как числа *без единицы* быть не может, так и вселенная, яко множество, *без Единого* владыки существовать не может. Начальная аксиома в математике: всякая величина *равна* самой себе: главный пункт веры состоит в том: Единый в первоначальном слове своего всемогущества *равен* самому себе. В геометрии *треугольник* есть первый самый простейший вид, и учение об оном служит основанием других геометрических строений и исследований. Он может быть эмблемою: силы, действия, следствия; времени, разделяющегося на прошедшее, настоящее и будущее; пространства, заключающего в себе длину, широту и высоту или глубину; духовного, вещественного и союза их. Святая церковь издревле употребляет *треугольник* символом Господа, яко верховного геометра, зиждителя всея твари. Две линии, крестообразно пресекающиеся под прямыми углами, могут быть прекраснейшими иероглифами любви и правосудия. Любовь есть основание творению, а правосудие управляет произведениями оной, нимало не преклоняясь ни на которую сторону. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви, чрез ходатая Бога и человеков, соединившего горнее с дольным, небесное с земным»¹⁷.

¹⁵ Там же. С. 23.

¹⁶ *Паршин А.Н.* Размышления над теоремой Геделя // Паршин А.Н. Путь. Математика и другие миры. М.: Добросвет, 2002. С. 95. Прим. 14. Автор, известный математик, отмечает, что при кажущейся элементарности понятие переменной остается парадоксальным именно в силу невозможности соотносить ее потенциальное алгебраическое многообразие с какими-либо конкретными примерами.

¹⁷ Слово о пользе математики, говоренное 5-го июля 1816 года профессором Никольским // Сухомлинов М.И. Исследования и статьи по русской литературе и Просвещению. СПб., 1889. Т. 1. С. 225. В своих рассуждениях, как показывает здесь

«Интервенции» математиков в сферу религии, истории, культуры, как и претензии гуманитариев прибегать к языку математики, мотивируются в этих случаях настоятельностью антропологического доверия к абсолютным ценностям. Тревожная неопределенность настоящего и будущего преодолевается возвращением к неизменным и надежным ориентирам соотносимой с нами действительности. Можно сказать, что факты «самой реальности» или «факты» нашего воображения о реальности предстают при этом данными некоторого реального или воображаемого *пространства*. В практике математического применения переменные величины симптоматично ограничиваются *областями* их изменения ($x \rightarrow \{x\}$). А в лингвистике объяснительной аналогией к понятию переменной величины служат местоимения, коммуникативная функция которых состоит в их свободе от референтной соотносительности с какой-либо «реальностью», кроме пространства. В качестве «пустых знаков» местоимения, как писал Бенвенист, становятся значимыми только тогда, когда «говорящий принимает их для себя, вводя в протекающий акт речи»¹⁸. Но сам такой акт не может протекать вне пространства: собственно, и само местоимение «я» в индоевропейских языках, как указывал уже Карл Бругман, этимологически связано с указанием на местоположение «здесь» (лат. Ego – hic; нем. Ich – hier; и другие соответствия, – от праиндоевропейского указательного *gho)¹⁹. Местонахождение в реальности, как и местонахождение в воображении, определяется ориентирами, или приметами, обнаруживающими прежде всего пространственную и только затем (а точнее, потому) и временную структуру. В поисках редукционного финализма пространство представляется неотменяемым, «несконструированным» основанием эссенциального, социального и «воображаемого», иммагинативного опыта, – ведь даже фантазмагория утопии этимологически (от греч. *Ου* – нет, *τόπος* – место) указывает на некое – пусть не-географическое, но потенциальное, воображаемое местопребывание. Все существующее во времени – существует *где-то*: здесь и/или там. Время указывает на движение, но движение подразумевает пространственные координаты. Мироздание, история, культура, общество, память – все это пространства, в которых мы существуем и движемся.

В гуманитарных науках эвристическая значимость понятия «пространства» приобрела в последние годы характер методологической новации, получившей название «пространственного поворота» (spatial turn)²⁰. В большей мере последний относится к социологии, демонстрирующей целенаправленный интерес к пространственному оформлению социальных действий и спецификации соответствующей субдисциплины «социология пространства»²¹. Менее декларативен, но тоже заметен такой интерес и в лингвистике, которая с большим вниманием, чем раньше, относится к пространственным эффектам языковой прагматики – коммуникативным локусам речи и текста²². Очевидно, что в той мере, в какой

же Сухомлинов, Никольский воспроизводит аргументацию, известную уже книжникам русского Средневековья (таково, в частности, сохранившееся в рукописях Синодальной библиотеки «Показание от писаний Святых отцов о треугольнике»): Сухомлинов М.И. Исследования и статьи. С. 551.

¹⁸ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 288.

¹⁹ Brugmann K. Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen // Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der Königlischen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1904. Bd. 22. Heft 6. S. 69–73. См. также: Bühler K. Sprachtheorie. Jena; Stuttgart: Gustav Fischer, 1934. S. 109–110.

²⁰ The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives / Eds. Barney Warf and Santa Arias. London: Routledge, 2009; Spatial Turn: das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaft / Hrsg. Jörg Döring und Tristan Thielmann. Bielefeld: Transcript, 2009; Kommunikation—Gedächtnis—Raum: Kulturwissenschaften nach dem «spatial turn» / Hrsg. Moritz Czaky und Christoph Leitgeb. Bielefeld: Transcript, 2009.

²¹ Löw M. Raumsoziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001; Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии пространства. М., 2003.

²² Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка // СЛЯ. 1997. Т. 56. № 3. С. 22–31; Логический анализ языка: Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М., 1997; Категория пространства, ее языковая репрезентация и лингвистическое описание // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского язы-

социологи учитывают речевую деятельность общества, а лингвисты небезразличны к ее социальной эффективности, их исследования могут пересекаться, позволяя ожидать более детального ответа на вопрос: какие речевые жанры и языковые дискурсы способствуют конструированию пространств(а) общей социальной деятельности.

«Социологизация» филологии может считаться сегодня уже определившимся направлением в развитии гуманитарных наук, занятых – в широком смысле – изучением языка и текстов. У этого обстоятельства есть несколько причин. С одной стороны, привычный в прошлом для лингвистики и (в меньшей степени) для литературоведения методологический «монизм» – ограничение исследуемого материала ближайшим к нему типологическим и таксономическим контекстом (изучение языковых единиц изнутри языковой системы, изучение текста из рядопологаемых к нему текстуальных параллелей) – породил ученические шаблоны, профанирующие метод и исследовательские результаты, все чаще иллюстрировавшие не наращение какого-либо эвристического смысла, а порочные тавтологии «предвосхищения основания» (*petitio principii*) – выводы, заведомо заявляемые в качестве научной задачи. Усталость исследователей от рутинного решения «строго» лингвистических и литературоведческих проблем – немаловажная причина для сомнений в обоснованности прежних методологических и дисциплинарных границ филологии²³. С другой стороны, «смещение» научных границ определило развитие и тех дисциплин, которые были небезразличными к лингвистике и литературоведению²⁴. В России такие изменения коснулись, не в последнюю очередь, фольклористики – науки, в ее отечественном изводе первоначально связанной с литературоведением, но по своему определению вынужденной решать задачи, балансирующие на границе этнографии, социологии и широко понимаемой антропологии²⁵. Еще одним обстоятельством, которое представляется важным для понимания филологических инноваций в контексте их связи с другими гуманитарными и социальными науками, явилась осознаваемая необходимость (само)оправдания филологии в качестве социально значимой и идеологически ангажированной дисциплины.

Формирование и воспроизводство гуманитарных наук в значительной мере объясняется их идеологической легитимацией. Институционализация филологии, философии, искусствоведения – то есть существование ученых, рассуждающих о культуре, литературе, искусстве и умозрительных понятиях и получающих за это государственное жалованье, – это роскошь, допускаемая государством и обществом ввиду признания ее идеологической значимости. Ученые-гуманитарии, как это показывают историко-социологические исследования, занимают места, так или иначе соотносимые с административной или даже управленческой иерархией. При всех оговорках, их можно сравнить с чиновниками (Фриц Рингер в своем классическом исследовании немецкой интеллектуальной элиты прямо сравнил уни-

ков. Шумен, 2002. С. 59–92 (<http://www.russian.slavica.org/article113.html>); Успенский Б.А. Ego Loquens. Язык и коммуникативное пространство. М., 2007. В отечественной структурной лингвистике пионерскую роль в «пространственной» и, что характерно, метаматематической интерпретации текста сыграл В.Н. Топоров, увидевший в нем, вслед за Рене Томом (Том Р. Топология и лингвистика // Успехи математических наук. 1975. Т. XXX. Вып. 1 (181). С. 199–221), содержательно топологическую структуру (Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: Структура и семантика. М., 1983. С. 227–284).

²³ См., например: Аверинцев С.С. Филология // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 544–545; Леонтьев А.А. Надгробное слово «чистой» лингвистике // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Тезисы междунаrodn. конф. Т. II. М., 1995; Гиндин С.И. Г.О. Винокур в поисках сущности филологии // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 1998. Т. 57. № 2.

²⁴ Scherpe K.R. Kanon – Text – Medium. Kulturwissenschaftliche Motivationen für die Literaturwissenschaft // Kulturwissenschaften – Cultural Studies. Beiträge zur Erprobung eines umstrittenen literaturwissenschaftlichen Paradigmas / Hg. Peter U. Hohendahl und Rudiger Steinlein. Berlin, 2001. S. 9–26; Turk H. Philologische Grenzgänge. Zum Cultural Turn in der Literatur. Würzburg, 2003; Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии: вызовы, границы, перспективы / Пер. с нем. К. Бандуровского // Новое литературное обозрение. 2011. № 107. С. 32–48.

²⁵ Подробнее: Богданов К.А. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб.: Искусство, 2001. С. 5–108.

верситетских преподавателей с «мандаринами» бюрократического Китая)²⁶, заинтересованными в поддержании своего социального (а значит, также символического и финансового) статуса. Идеологические издержки такого положения дел общеизвестны: в наиболее явном виде такова пропаганда культурных и «духовных» ценностей, востребованных правящей идеологией, а с другой – недооценка (или охаивание) тех ценностей, которые с такой идеологией несовместимы. Но есть и собственно этическая сторона склонности к гуманитарным и, в частности, филологическим занятиям.

В одном из писем к А.С. Суворину А.П. Чехов писал «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, т.е. ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком»²⁷. Известная самоирония Чехова не лишена в этом случае – как, впрочем, и в других его письмах – «здорового цинизма», но в общем характерна для современников, еще помнивших о скандальных спорах вокруг диссертации Н.Г. Чернышевского и «Отцах и детях» И.С. Тургенева. Сколь бы сам Чехов ни был далек от сердитых поклонников Базарова, он, как кажется, не отвергал и их доводов. Во всяком случае выведенный им образ профессора Серебрякова в пьесе «Дядя Ваня» (1896) стал хрестоматийным развитием представления о самовлюбленном ученом болтуне, комфортно рассуждающем об искусстве и культуре, вместо того чтобы приносить пользу обществу. И показательно, что уже первое появление Серебрякова на сцене вызвало критику: ученые члены Московского отделения Театрально-литературного комитета – Н.И. Стороженко, А.Н. Веселовский и И.И. Иванов первоначально забаллотировали пьесу, а впоследствии высказывали свое негодование ею из-за карикатурного изображения заслуженного профессора²⁸. Насколько злободневна эта карикатура сегодня? Что предопределяет этическую оправданность и, соответственно, убеждение самих гуманитариев в том, что «можно говорить о литературе» и «в то же время чувствовать себя порядочным человеком»?

Дискуссии последних лет показывают, что вопрос этот остается небезразличным к вопросу о социальной роли гуманитарных наук вообще и филологии в частности²⁹. В последнем случае сама настоятельность таких дискуссий осознается тем сильнее, чем менее значимой для общества – с развитием новых форм медиа и унифицирующим характером их социального воздействия – становится литература и связанные с ней идеологические практики, демонстрирующие сегодня как ограниченность своего социального спроса/предложения, так и свою подчиненность или, во всяком случае, ценностную рядоположенность другим формам медиального и аудиовизуального воздействия *на* человека. Убеждение в том, что предмет филологии – сколь бы расплывчатым он ни был – важен потому, что он соотносится с проблемами коммуникации, понимания и, вместе с тем, сферой трудно контролируемого социального и психологического опыта (любопытства, сферой эмоций, «свободной воли», моральных и этических ценностей) потребовало в этой ситуации дополнительных

²⁶ Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890—1933. М.: НЛО, 2008. См. в этом же издании содержательную статью о применимости того же сравнения к общеевропейскому, а также к российскому и советскому контекстам: Александров Д.А. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории. С. 593—632. Первое издание книги Рингера вышло в 1969 году.

²⁷ Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. СПб.: Наука, 1977. Ч. 2. Т. 5. С. 105. Письмо А.П. Чехова А.С. Суворину от 16 августа 1892 г.

²⁸ По воспоминаниям Николая Эфроса, «в Серебрякове будто бы узнал себя один московский популярный профессор – историк литературы, вознегодовал, что выставили его на публичное осмеяние, другие за него обиделись» (Эфрос Н. Московский художественный театр. М., 1924. С. 429). Из переписки очевидцев первых постановок пьесы выясняется, что обидевшимся профессором был Алексей Николаевич Веселовский – популярный лектор и автор известных своей публицистичностью монографий об истории западноевропейского театра и литературы (Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем. М., 1978. Т. 13. С. 411—412).

²⁹ См., напр., материалы дискуссии в журнале «Новое литературное обозрение» – статью Сергея Козлова и развернутые отзывы на нее, посвященные ценностным трансформациям филологии в отечественной науке и обществе: Козлов С. Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/110/>

аргументов, и такие аргументы в наиболее последовательном виде были высказаны с опорой на широко понимаемую «антропологию» (ознаменовав в истории гуманитарных дисциплин очередной, на этот раз «антропологический поворот»)³⁰.

Филологические инновации в контексте их связи с другими гуманитарными и социальными науками выразились при этом прежде всего в переносе исследовательских акцентов с выявления и описания структуры культурной информации на ее социальные и психологические функции. «Субъективизации» в науке сопутствовала и известная «субъективизация в культуре»: давно замечено, что именно XX век породил огромное количество текстов и произведений искусства, которые при своем появлении поражали современников их заведомой «нечитабельностью» и невозможностью для глаза. Литература отныне не предполагает видеть в ней воспроизведение и подражание, мимесис уступает место поиску отношений между текстом и читателем, изображением и зрителем. Описание такого отношения в литературной критике и литературоведении (сближаемом отныне с самой этой критикой) найдет со временем свое теоретическое обоснование в теории постструктурализма и деконструктивизма, объявивших понимание текста и письма (*écriture*) не в качестве репрезентации, но в качестве производства самого текста и самого письма, не обязывающих читателя – и исследователя – руководствоваться в понимании литературного произведения предполагаемой интенцией автора. С наибольшим радикализмом вывод из этого обстоятельства был сделан Сьюзан Зонтаг, заявившей об «отказе» от интерпретации, как «естественном» опыте текучей рецепции произведения – опыте не слов, но чувств и эмоций³¹. Появление и тиражирование понятий и терминов, пополнивших в 1970—1980-х годах традиционный словарь литературоведа и теоретика культуры, может быть оценено с этой же точки зрения: дискурс, диспозитив, субъект, знание, власть, различение-различание (*différence-différance*), означивание (*significance*, отличающее его от старорежимного *signification*, «значения») – все это новшества, сопутствовавшие стремлению к преодолению эвристических предсказуемостей филологии и, вместе с тем, осознанию временных и пространственных границ самого гуманитарного знания. В целом прошедшие десятилетия уже позволяют оценить эффективность методик, дополняющих традиционные филологические методы вниманием к идеологическим, коммуникативным и социально-психологическим особенностям бытования разножанровых текстов в пространстве национальных культур³².

³⁰ Понятие «антропологического поворота» было проблемно обосновано в 1985 году в рамках colloquium «The Anthropological Turn in Literary Studies», состоявшегося в университете г. Констанц (Германия). В 1996—2002 годах там же осуществлялся проект «Литература и антропология» («Literatur und Anthropologie», поддержанный ведущим научно-исследовательским обществом Германии – Deutsche Forschungsgemeinschaft), связавший исследователей разных специальностей с тем, чтобы обновить концептуальный инструментарий уже привычного к тому времени понимания текста в контексте «культуры», а «культуры» в функции «текста». См. выпущенный по итогам colloquium сб. статей: *The Anthropological Turn in Literary Studies // REAL. Yearbook of Research in English and American Literature* / Ed. J. Schlaeger. Tübingen: Gunter Narr, 1996. Vol. 12. Проект «Literatur und Anthropologie» представлен одноименной серией, выходившей в Тюбингене в издательстве «Gunter Narr Verlag». С 1998 по 2005 год в этой серии вышло 23 тома.

³¹ Sontag S. *Against Interpretation and Other Essays*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1966.

³² См. важные в этом ряду книги: Iser W. *Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology*. Baltimore; London, 1989; Delft v. L. *Literatur und Anthropologie. Menschliche Natur und Charakterlehre*. Lit-Verlag (Ars Rhetorica 16), 2005, а также статьи в сборниках: *Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert* / Hrsg. Hans-Jürgen Schings. Stuttgart; Weimar, 1994; *Historische Anthropologie und Literatur. Romantische Beiträge zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft* / Hrsg. Rudolf Behrens und Roland Galle. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1995; *Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft* / Hrsg. D. Bachmann-Medick. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1996; *Between Anthropology and Literature: Interdisciplinary Discourse* / Ed. Rose De Angelis. London, 2002; *Zwischen Literatur und Anthropologie. Diskurse, Medien, Performanzen* / Hrsg. Aleida Assmann, Ulrich Gaier, Gisela Trommsdorff. Tübingen: Narr, 2005.

3.

Методологические изменения в филологии были поддержаны в те же годы технологическими новациями. Развитие компьютерной техники, появление и совершенствование Интернета существенным образом изменили само представление о тексте. Объем информации и характер ее извлечения в Интернете девальвировали филологически традиционные способы количественной и качественной обработки сведений, которые до недавнего времени можно было узнать преимущественно из непосредственного перелистывания книги. В научных терминах библиографии такое пролистывание называлось *de visu*, указывая на то, что книжное знание есть также и результат зрительных усилий. Чтение и усваивание информации вслух и возможности ее тактильного считывания (например, при использовании графики для слепых) общей тенденции при этом, конечно, не меняли. Многознание подразумевало, что многознающий не просто много читал, но и *видел* много собственно-ручно пролистанных им книжных страниц. Чтение книги и чтение с компьютерного экрана в этом пункте могут показаться схожими – и в том и в другом случае ориентация в информационном пространстве предполагает преимущественно зрительные усилия, интегративные к когнитивным («умозрительным») навыкам овладения знанием. Но важное различие, перевешивающее в этих случаях сходство, состоит в том, что, каким бы беглым и «диагональным» ни было прочтение книги, в отличие от чтения интернет-страниц, оно предполагает сравнительную последовательность, целостность и линейность содержательной рецепции в границах информационного объекта (книги, журнала, газеты, документа и т.д.). Использование Интернета – даже в тех случаях, когда его пользователь имеет дело с «объектно» выделенным информационным блоком (например, в формате PDF или DjVu), – предрасполагает не к последовательно-линейной, а к дискретной, фрагментированной и дробной рецепции. В какой-то степени это осознавалось уже на заре Интернета, теоретики которого писали о структурной, визуальной и смысловой вариативности и интерактивности электронных текстов, «демократически» контрастирующих с самим представлением о культуре, в которой доминируют печатные книги, а также идея литературного и образовательного канона³³. Другая важная особенность, отличающая восприятие книжной информации от информации, представленной в Интернете, определяется степенью ее стабильности: при всей своей недолговечности книга лишена рисков, связанных с нестабильностью интернет-адресов и соответствующих им ссылок³⁴. Объем и характер информации, транслируемой в сети, поэтому же обратимы к ее динамике и своего рода «сиюминутности», предопределяющей стратегии считывания, которые не предполагают повторного восприятия. Можно сказать поэтому, что повторение, которое, по старинной поговорке, слывет «матерью учения», в большей степени подразумевает чтение книги, а не пользование Интернетом.

Неудивительно, что раньше других новизну доступа к информации через Интернет, как угрозу традиционным практикам образования, осознали социологи и педагоги. В сетованиях на Интернет, как на приоритетный источник информации, указывалось как на собственно эпистемологические последствия приобщения школьников к знанию через Интернет – разрушение структур «классического», «фундаментального», «целостного», а проще сказать – книжного образования, так и на последствия этического и социально-идеологи-

³³ Bolter J.D. Writing Space: The Computer in the History of Literacy. Hillsdale (N.J.), 1991; Lanham R.A. The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts. Chicago; London, 1993.

³⁴ Соловьев С. Всемирная библиотека и культура однодневок // Новое литературное обозрение. 2005. № 74. <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html>.

ческого порядка – утрату авторитета роли педагога, школы и (в конечном счете) власти³⁵. Возникающие при этом в одном ряду понятия Интернет – информация – знание симптоматичны в своей проблемной взаимозависимости, указывающей на то, что если сумма информации и не сводится к знанию, то именно Интернет – это тот ресурс, который обязывает к ее «дидактической» переработке. В отличие от педагога, озабоченного воспитанием навыков теоретического или, во всяком случае, самостоятельного мышления у учащихся, для исследователя, занятого поиском связей и/или (ре)конструкцией контекста того или иного текста, эпистемологические и методологические проблемы, возникающие при использовании Интернета, могут быть сформулированы в этих случаях как принципы надлежащего ограничения. Насколько вариативны в своей контекстуальной избыточности представленные в нем тексты? Каковы критерии, позволяющие судить о том, что наращение в этих случаях количественной информации («а вот еще один пример...») достаточно для репрезентируемого этой информацией «знания»?

С момента своего возникновения Интернет создает и упрочивает ощущение *объективного* сосуществования текстов, присутствие которых на экране компьютера предстает самостоятельным и независимым от человека. Эзотерический термин «семиосфера», введенный Ю.М. Лотманом в качестве определения виртуальной целостности культурного пространства, не замедлил найти аналогию в определениях, прилагаемых сегодня к Интернету – как «кибернетическому пространству» (Cyberspace) всевозможных смыслов³⁶. Отношение человека к семиосфере культуры и семиосфере Интернета оказывается при этом, по необходимости, произвольным, случайным и субъективно ограниченным. Порядок такого ограничения диктуется не порядком текстов, но их антропологической упорядоченностью – выбором, который диктуется некими предположительно социально-психологическими и идеологическими обстоятельствами.

Здесь можно было бы заметить, что ситуация Интернета в определенном смысле довела до логического завершения такое отношение к информации, которое всегда подразумевало те или иные ограничения, налагаемые на ее носителей со стороны общества. В истории найдется достаточно примеров, демонстрирующих подозрительное или прямо негативное отношение к тем, кто слыл носителями незаурядного объема информации. Разведение понятий «информация» и «знание» и, в свою очередь, «знание» и «понимание» заслуживает своего внимания с этой же точки зрения, а дидактические афоризмы вроде библейского «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1: 18) или якобы сказанного Гераклитом Эфесским «Многоученость не учит уму» (впрочем, тому же Гераклиту приписывается и то замечание, что «должен весьма о многом быть сведущим муж любомудрый»)³⁷, как первые в длинном ряду наставительных и самоуспокоительных сентенций, оправдывающих социальное согласие на владение не максимальным, но оптимальным объемом информации. При этом если в прошлом хранилищем информационного максимума мыслилась культура как таковая или такие синонимичные к ней фантазмы, как Библиотека, Архив, Память культуры, то теперь таким хранилищем выступает Интернет, который, с одной стороны, искушает доступом к максимальному объему информации, а с другой – как любое искушение – обязывает к (само)ограничению ее пользователей.

³⁵ Методологические проблемы и практика изучения Интернета: Сб. научн. статей / Под ред. А.В. Шарикова. М., 1999; Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002. С. 174–175. Ср.: Лейбов Р.Г. Интернет и проблемы гуманитарного образования. Тезисы к обсуждению проблемы // Неприкосновенный запас. 2002. № 4 (22). С. 89–95.

³⁶ Чудова Н.В., Евлампиева М.А., Рахимова Н.А. Психологические особенности коммуникативного пространства Интернета // Проблемы медиапсихологии. Материалы секции «Медиапсихология» Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития» / Сост. Е.Е. Пронина. М., 2001. http://evartist.narod.ru/text7/47.htm#_ftn5.

³⁷ Гераклит Эфесский. Все наследие. На языке оригинала и в русском переводе / Подготовил С.Н. Муравьев. М.: Ad Marginem, 2012. С. 163, 164 (Фрагменты 47, 49).

Показательно, что и «защита индивида и общества» перед безмерно ширящимся объемом информации (еще один используемый в данном случае термин – инфо– или информосфера)³⁸ видится некоторым авторам разрешимым на пути личностного и, в частности, религиозного выбора³⁹.

Было бы ошибочно считать, что такие ограничения не распространяются на ученых гуманитариев, кому, казалось бы, по определению надлежит стремиться к предельно широкой осведомленности в области истории, культуры и литературы. На фоне Интернета представление об эрудиции претерпевает, однако, те изменения, что традиционно ценившаяся осведомленность ученого о том-то и том-то отступает перед виртуальным наличием сетевого банка данных «обо всем на свете». Некоторыми учеными такое положение дел воспринимается травматически (усугубляя и без того удручающую картину ухудшения университетского образования), как первый признак того, что «легитимация экспертного знания подорвана медийно-сетевым производством мнения», сама эрудиция «скоро станет постыдной. Википедия (и другие подобные проекты) стала подлинным протезом современной “живой памяти”, и демонстрировать свой протез – жест не невинный»⁴⁰. Для человека, претендующего выступать в роли ученого, вполне лестно, вероятно, согласиться с тем, что дилетант может знать гораздо больше специалиста, но дилетант потому и дилетант, что он не знает того, что должен знать. Чем, однако, определяется должная избирательность научной эрудиции?⁴¹ Ответить на этот вопрос, казалось бы, проще всего с опорой на уже имеющиеся подсказки в области методологии гуманитарных исследований, теории литературоведческого и историко-культурного анализа, но на деле – из разнобоя соответствующих мнений – в этих случаях можно извлечь лишь тот достаточно общий вывод, что ученый-гуманитарий занят посильной *контекстуализацией* своего объекта исследования, руководствуясь требованиями научной традиции и *субъективной актуальностью* тех вопросов, которые он адресует воображаемой истории.

Главы этой книги писались в разное время, но в целом они продолжают мои предыдущие исследования, посвященные филологической истории русской культуры, теории и прагматике фольклора, риторике и культурной истории медицины. Их объединение под одной обложкой сам я оправдываю убеждением в многоаспектности и поливалентности историче-

³⁸ Новик И.Б., Абдуллаев А.Ш. Введение в информационный мир. М., 1991.

³⁹ Степанов Ю.С. «Интертекст» – среда обитания культурных концептов. Ценности интернет-пользования предсказуемо уступавают при этом определений (а чаще – обвинений), как симптом и квинтэссенция идеологии Постмодернизма, воплощение теоретических принципов, обретающих в данном случае жизнестроительную силу некой новой идеологической формации: «аксиологический плюрализм, смешение разных традиций и норм, сознательное изменение и трансформация предельных полюсов, задающих привычные ориентиры в жизни человека; клиповость (фрагментарность и принцип монтажа); интертекстуальность и цитатность; стилиевой синкретизм, смешение жанров – высокого и низкого; неопределенность, культ неясностей, ошибок, пропусков, пародийность; языковая игра и т.д.» (Громыко Н.В. Интернет и постмодернизм – их значение для современного образования // Вопросы философии. 2002. № 2. С. 175). «Жизнестроительная» реализация этих принципов на практике знаменует, по мнению той же Громыко, социальное торжество определенного антропологического типа: «Это космополит, свободный от догмата любых культурных традиций и норм, прекрасно понимающий всю их условность; это абсолютно искренний по отношению к собственным природным инстинктам “шизоид” <...>, ценящий прежде всего потребление, – в том числе, потребление информации; это интеллект, владеющий правилами любой языковой игры и столь же легко освобождающийся от них» (Громыко Н.В. Интернет и постмодернизм. С. 175—176).

⁴⁰ Маяцкий М. Университет называется // Логос. 2013. № 1 (91). С. 15, 16.

⁴¹ Так, например, применительно к отечественной гуманитарии о корпоративной подозрительности к предосудительно «избыточной» эрудиции в сфере профессионального знания можно судить, в частности, по эпатажирующей откровенности Вадима Руднева, во мнении которого такие незаурядные эрудиты советской гуманитарии 1960—1980 годов, как Вячеслав Вс. Иванов и В.Н. Топоров, феноменальным разнообразием и количеством своих работ демонстрировали «не эрудированность нормального ученого в своей области», но «коллекционирование» и «бриколаж знания» и, значит, «обратную сторону того же невежества» (Руднев В. Скромное обаяние шизофрении (замечки очевидца) // Логос. 2000. № 4. С. 56). Эпатаж Руднева можно, конечно, списать на относительную депривацию критика, завидующего охаиваемым им ученым, но правда и в том, что представление о научной эрудиции привычно предопределяется представлением о ее избирательности.

ской фактологии, определяющей наше отношение к прошедшему и настоящему. Понятие «переменные величины» кажется мне в этом случае удобной метафорой, чтобы подчеркнуть условность выделяемых мной «фрагментов» Большой истории и их зависимость от вопросов *дидактического* порядка. Знание и эмоции, понятия и идеи, события и быт, болезни и сны, память и воображение – вот то, из чего складывается субъективный исторический опыт. Используя этот опыт в качестве средства умозрительной и, вместе с тем, социальной ориентации, ученый лишь тем отличается от не ученого, что он полагает его объектом возможной перепроверки, опирающейся на научные принципы подтверждаемости (верификации) и опровергаемости (фальсификации). В естественных науках критерием систематического критицизма, как известно, служит эксперимент. Остается надеяться, что последовательное внимание к словам и текстам, соотносимым с обозначаемой ими «реальностью», все еще может служить таким же критерием в филологии. Филологическое описание исторического опыта – даже если оно продолжает «комодную историографию» – представляется мне, с этой точки зрения, важным уже тем, что оно позволяет оценить дискурсивную подвижность социальных и культурных предписаний – прав и обязанностей, возможностей и запретов, границ произвола и альтруизма. В качестве парадигматического условия такие предписания предстают неотменяемой универсалией, инвариантом культурных и социальных практик⁴². Но инвариант – это всегда абстракция, постулируемая в вариативности ее фрагментарной феноменологии. Известно, что сомнение в оправданности запрета – достаточный знак предощущаемых перемен. Вопрос в том, готовы ли мы сами к этим переменам. Собранные в настоящей книге работы я увязывал и с этим вопросом тоже, чтобы еще раз задуматься о цене и превратностях дарованной *нам* свободы.

Мне хотелось бы верить, что мои друзья и коллеги, помогавшие или попустительствовавшие мне в исследовательских усилиях, в той или иной степени разделяют ту же надежду. Список тех, кому я должен выразить свою признательность за их подсказки, советы и доброжелательную критику, рискует стать слишком длинным, но в нем непременно должны значиться Екатерина Измestьева, Дарина Папиашвили, Анна Разуvalова, Наталья Скрадоль, Катриона Келли, Валерий Вьюгин, Евгений Добренко, Александр Панченко, Кевин Платт, уделявшие мне свое время и внимание там, где преимущественно писалась эта книга, – в России, Германии, Англии и Японии⁴³. Ее публикацией в «Новом литературном обозрении», как и прежде, я благодарно обязан Ирине Прохоровой.

⁴² О значении «запрета» для семиотического описания культуры: Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М.: Языки русской культуры, 1996.

⁴³ Работы, вошедшие в книгу частично финансировались в рамках исследовательских проектов «Ziffern und Buchstaben. Diskursive, ideologische und mediale Transformationen in den sowjetischen Humanwissenschaften der 1950er und 60er Jahre» (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Universität Konstanz); «Understanding of Human Rights in Soviet and Post-Soviet Language Culture» (Foreign Visitors Fellowship Program, Slavic Research Center, Hokkaido University), «Конспирологические нарративы в русской культуре XIX – начала XXI века: генезис, эволюция, идейный и социальный контексты» (Российский научный фонд).

АНТРОПОЛОГИЯ КОНТЕКСТА. К ИСТОРИИ «ОБЩЕПОНЯТНЫХ ПОНЯТИЙ» В ФИЛОЛОГИИ

*Из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз
черт знает что и значит.*

Н.В. Гоголь. Мертвые души

В историко-языковом отношении слово «контекст» предшествует всем известным на сегодняшний день терминологическим инновациям с постпозитивным словообразовательным формантом «-текст». Латинские существительные *textus* и *contextus* образованы от причастий прошедшего времени страдательного залога (*Part. Perf. Pass.*) однокоренных и синонимичных глаголов *texo* и *contexo* – плету, тку. Слова *textum* и *contextum*, обозначавшие нечто «сплетенное», «сотканное», «связанное воедино» (а в субстантивированном значении: «ткань», «полотно», «сеть», «паутина»), приобрели расширительное значение связи слов и предложений уже в Античности. Семантическая иерархия формирующихся при этом понятий образуется не сразу, но обнаруживает определенную специфику уже у классических римских авторов, употребляющих слово «текст» для указания на композиционную и стилистическую упорядоченность элементов внутри высказывания (предопределившую, в частности, общераспространенную в европейской культуре «текстильную» метафорику речи и письма)⁴⁴, а «контекст» – для указания на связь речи и каких-либо внешних к ней, как формальных, так и содержательных, обстоятельств⁴⁵. О том, насколько широко понимались последние, можно судить, в частности, из «Ораторского наставления» (*Institutio oratoria*) Квинтилиана, использовавшего в нем слово «контекст» в одном случае для обозначения интонационной целостности риторического периода⁴⁶, а в другом – в рассуждении о том, что биография складывается как из слов, так и из поступков⁴⁷.

Терминологизация самих слов *textum* и *contextum* сопутствует их субстантивации, но о строго понятийном словоупотреблении в подобных случаях говорить, впрочем, еще нельзя. Правильнее считать их метафорами, еще сохранявшими этимологически прозрачную связь с исходными для них глаголами даже в тех сочинениях, которые, казалось бы, дают основания судить о складывающейся специфике их дисциплинарной целесообразности. Так можно было бы думать – и пример Квинтилиана здесь мог бы отчасти рассмат-

⁴⁴ Oxford Latin Dictionary / Ed. P.G.W. Clare. Oxford: Clarendon Press, 1968—1982. P. 1935, s.v. «textum». См., в частности, примеры игры с двойственным пониманием слова *textum* у Квинтилиана: «*Illud in Lysia dicendi textum tenue atque rasum*» (Inst. orat. 9.4.17), «*Verba eadem qua compositione vel in textu jungantur vel in fine clauduntur*» (Inst. orat. 9.4.13). О текстуальных метафорах в поэтике и теории литературы см. обширное исследование: Greber E. Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie. Studien zur Tradition des Wortflechtens und der Kombinatorik. Köln: Böhlau, 2002.

⁴⁵ Так, например: «*Quam ob rem omnis vis laudandi vituperandique ex his sumetur virtutum vitiorumque partibus; sed in toto quasi contextu orationis haec erunt illustranda maxime*» (Cic. De Part. orat. 82); «*Ceterorum casus conatusque in contextu operis dicemus*» (Tac. Hist. II.8); «*Hoc commodius in contextu operis redderetur, cum praeesse universis providentiam probaremus et interesse nobis deum*» (Sen. De providentia. 1.1.1); «*Ascylos, iam deficiente fabularum contextu: "Quid? Ego, inquit, non sum dignus qui bibam?"*» (Petronius. 20); «*Plus tamen est obscuritatis in contextu et continuatione sermonis, et plures modi*» (Quint. Inst. orat. 8.2.14); «*Quidam synecdochen vocant et cum id in contextu sermonis quod tacetur accipimus: verbum enim ex verbis intellegi, quod inter vitia ellipsis vocatur: "Arcades ad portas ruere"*» (Quint. Inst. orat. 8.21); «*Tralata probari nisi in contextu sermonis non possunt*» (Quint. Inst. orat. 8.38); «*Soloecismus est vitium in contextu partium orationis contra regulam artis grammaticae factum*» (Donatus. De Soloecismo), «*Non passus est iuuenem in contextu rerum asperarum quasi laetae materiae facere dilectum*» (Valerius Maximus. Factorum et dictorum memorabilium. 7.2.ext.1).

⁴⁶ «*Oratio vineta atque contexta*» (Quint. Inst. orat. 9. 4—19). См. также: Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. München: Max Hueber, 1973. S. 167 (§ 292); 506 (§ 1054B); Registerband. S.v. contextus.

⁴⁷ «*Namque alias aetatis gradus gestarumque rerum ordinem sequi speciosius fuit, ut in primis annis laudaretur indoles, turn disciplinae, post hoc operum id est factorum dictorumque contextus*» (Quint. Inst. orat. 3.7.15).

риваться в качестве доказательного, — что стимулом к терминологизации понятий «текст» и «контекст» послужила теория и практика античной риторики. Между тем применительно к собственно античной риторической традиции этого не наблюдается: в дошедших до нас сочинениях о правилах ораторского мастерства использование этих слов единично, и при этом они никогда не обсуждаются в качестве терминов — и это на фоне того, что одной из главных особенностей античной риторики выступает ее чрезвычайно детализованный терминологический аппарат⁴⁸.

Главной причиной интересующей нас терминологизации стала не риторика, но герменевтика — т.е. не правила использования устной и письменной речи, но правила ее понимания. В ретроспективе филологии как науки о текстах *зарождение практик* такого понимания оправданно связывается с античной культурой — прежде всего, с работой александрийских и римских комментаторов древних авторов — и, конечно, небезразлично к той же античной риторике. Формирование института профессиональных читателей и переписчиков, выступающих в роли посредников между обществом и удостоенными сохранения текстами, до известной степени оправдывает и те внешние аналогии, которые обнаруживаются при сравнении античных «филологов» с писцами-соферами Древнего Израиля, еврейскими раввинами, исламскими шейхами и муллами, индийскими брахманами, буддийскими, конфуцианскими и даосскими мудрецами⁴⁹. Но при всех сходствах в этих случаях есть и существенное отличие: античная филология в своем первоначальном виде представляет собой в большей степени *критику текста* — традицию аттизиса, атрибуции, чем традицию герменевтики. Развитие собственно античной филологии стимулируется при этом не столько приоритетами канонизации (как это имеет место в восточных культурах), а ценностями соперничества, спора и дискуссии — традицией, которую Ян Ассман удачно обозначил риторическим понятием «гиполепсис» (ὑπολήψις, букв. «подхватывание»), обозначавшим в практике рапсодического агона продолжение исполнения с того места, где остановился предыдущий певец, а в риторике — отсылку к сказанному предыдущим оратором (в расширительном значении «гиполепсис», по Ассману, подразумевает отношение «к текстам прошлого в форме подконтрольной вариативности», «принцип, по которому начинают не с начала, а с подхватывания и присоединения к предыдущему, с включения в уже идущий процесс коммуникации»)⁵⁰. В целом же *формирование теории*, ставящей своей целью выработать методики интерпретации текста, относится уже не к античной, а к христианской культуре и первоначально связано с интерпретацией священных текстов.

Герменевтические усилия интеллектуалов Средневековья и раннего Нового времени концентрируются главным образом на чтении Священного Писания и трудов Отцов Церкви⁵¹. Важно подчеркнуть при этом, что собирание, переписывание, исправление и комментирование сочинений античных авторов, начало которому также было положено уже в Средневековье (преимущественно в эпоху «Каролингского возрождения» IX—XI веков), достигшее апогея в эпоху итальянского Ренессанса⁵² и сыгравшее впоследствии столь важ-

⁴⁸ Здесь, может быть, нелишне заметить, что в фундаментальном издании: *Historisches Wörterbuch der Rhetorik* / Hrsg. G. Ueding. Tübingen: Max Niemeyer, 1992—2009. Bd. I—VI, вообще нет статей ни о тексте, ни о контексте. В словаре Лаусберга (*Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik*) понятие «контекст» хотя и выделяется, но служит примером литературной практики, а не риторической теории.

⁴⁹ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М., 2004. С. 102.

⁵⁰ Там же. С. 302, 305.

⁵¹ О понятии «текст» в эпоху западноевропейского Средневековья см.: «Textus» im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld / Hrsg. Ludolf Kuchenbuch, Uta Kleine. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Veröffentlichungen des Max—Planck—Instituts für Geschichte. Bd. 216), 2006.

⁵² Горфункель А.Х. Гуманистическая книга в канун книгопечатания // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России. 1997. СПб., 1997. С. 60—69.

ную роль в институционализации самой филологии как научной дисциплины, в теоретическом отношении совершенствовало принципы именно библейской герменевтики, а не наоборот⁵³. В своей методологической совокупности такие принципы и составляют то, что сегодня может быть названо «контекстуальным анализом»⁵⁴, обязывающим интерпретатора текста – в тогдашних терминах – не только учитывать «место, время, сходства и обстоятельства» текста (*loci et temporis, similitumque circumstantiarum*), но и также (с отсылкой к аристотелевскому учению о четырех причинах сущего)⁵⁵ – различать четыре «причины» текста: 1) автора («действующая причина» – *causa efficiens*), 2) источники и тематику («материальная причина» – *causa materialis*), 3) приемы и способы изложения («формальная причина» – *causa formalis*) и 4) задачу, которая им преследуется («причина цели» – *causa finalis*). Установление всех указанных причин суммирует необходимое истолкование текста «извне» (*extrinsecus* – исследование, ограниченное *causa efficiens* и *causa finalis*) и «изнутри» (*intrinsecus* – исследование, ограниченное *causa materialis* и *causa formalis*)⁵⁶.

Применительно к Писанию правила такой интерпретации были сформулированы уже Августином, писавшим, что истолкование библейского текста в частности требует, во-первых, прочтения библейских книг в целом и, во-вторых, предварительного знакомства с тем, что изложено в них наиболее ясно; и только затем, уже вполне освоившись с языком Писания, «следует выявлять его темноты и, проясняя их, двигаться таким образом, чтобы более темные места освещались более очевидными примерами и свидетельства сколь-либо определенных суждений удаляли сомнение в неопределенных» (*De doctrina Christiana*. 2.9.14)⁵⁷. Сам Августин уделял при этом особое внимание сложностям перевода древнееврейского текста на греческий и латинский языки, каждый из которых, как он подчеркивал, допускает различные – как буквальные, так и переносные (фигуральные) – значения для одних и тех же слов и выражений. Поэтому исправление возможных в этих случаях ошибок требует как учета таких вариаций, так и соответствующих им контекстов (понятие *contextum* во множественном числе Августин закрепил тем самым также за теорией или, во всяком случае, за прототеорией перевода)⁵⁸.

Необходимым условием понимания или, точнее, предпонимания библейского текста Августин полагал наличие веры: «наставленный верою в истину» («*fide veritatis instructus*»: *De doctrina Christiana*. 2.8.12), читатель Писания уже тем самым приуготовлен и к тому, что он сможет понять и те библейские книги, которые изначально могут вызвать у него

⁵³ См.: Bernays J. *Geschichte der Klassischen Philologie*. Vorlesungsnachschrift von Robert Muenzel. Hildesheim; New York: Olms (Spudasmata. Bd. 120), 2008.

⁵⁴ Или «контекстуальной теорией смысла» (Камчатнов А.М. *История и герменевтика славянской Библии*. М., 1998. С. 70).

⁵⁵ Таковы, по Аристотелю (*Met.* I 1. 982a1–3, I 2. 982b9–10, etc.), 1) сущность, суть бытия; 2) материя, или субстрат; 3) источник движения и 4) «то, ради чего», т. е. цель всякого возникновения и движения.

⁵⁶ Danneberg L. *Kontext // Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft* / Hrsg. Harald Fricke. Berlin. Bd. II; New York: Walter de Gruyter, 2000. S. 334.

⁵⁷ «In ea quae obscura sunt aperienda et discutienda pergendum est, ut ad obscuriores locutiones illustrandas de manifestioribus sumantur exempla et quaedam certarum sententiarum testimonia dubitationem incertis auferant». Латинский текст перевожу по изд.: Sancti Aureli Augustini opera. Vol. 6, 6. *De doctrina christiana* / Recensuit et praefatus est Guilelemus M. Green. Vindobonae: Hoelder—Pichler—Tempsky (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 80), 1963.

⁵⁸ Внимание к таким контекстам, по Августину (*De doctrina Christiana*. 2.12.18), позволяет, например, исправить часто встречающуюся ошибку в буквальном переводе греч. слова *μοῦσος* как «телячий приплод», понимаемом в его связи со словом *μοῦσεν* «мат» – телец. Между тем в библейском тексте находим афоризм (*Sap.* 4.3), который, по мнению Августина, требует не буквального перевода *μοῦσεν* «мат» на латинский язык (*vitulamina* – от *vitulus*), а фигурального, как «обманные саженьцы» («*Adulterinae plantationes non dabunt radices altas*» – «Обманные саженьцы не дадут глубоких корней»): речь идет о саженьцах, «которые загнаптываются ногами в землю и [потому] не закрепляются корнями». «Такой перевод в этом месте, – добавляет здесь же Августин, – поддерживают и другие контексты» («*Hanc translationem in eo loco etiam cetera contexta custodiunt*»). В тексте Вульгаты упоминаемый Августином афоризм звучит так: «*Et spuria vitulamina non dabunt radices altas*». В русском синодальном переводе: «Ложные посадки не дают глубоких корней» (Прем. 4.3).

трудности. Сформулированное Августином правило «веруй, чтобы понимать» – «crede ut intellegas» (или в расширенном виде: «Мы верим, чтобы познать, а не познаем, чтобы верить» – *Credimus, ut cognoscamus, non cognoscimus, ut credamus* (*Tractatus in Sanctam Johannem* (40.9)) позднее будет цитироваться в качестве базового принципа христианской герменевтики⁵⁹, но, в свою очередь, оно также предвосхитило и последующую проблематизацию в объяснительном соотношении текста и контекста Священного Писания.

Основной проблемой при этом стало то, что надлежащее истолкование библейских книг обязывает, по рассуждению того же Августина, опираться на знания и методы классификации, разработанные уже в Античности (в частности – исторические свидетельства и основы риторического анализа). Для эпохи Средневековья нормативным сводом таких знаний и методов стали сочинения Исихора Севильского (560—636), и прежде всего его «Этимологии» («*Etymologiarum*», или «Начала» – «*Origines*») – обширный энциклопедический труд в 20 книгах, последовательно объединивший почерпнутые преимущественно из античных источников сведения о грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геометрии, астрономии, музыке, медицине, истории, праву, космологии, теологии, географии, архитектуре, зоологии, агрономии, военному делу, кораблестроению, быту и т.д. Здесь же, в рассуждении о том, зачем надлежит изучать грамматику и как следует определять речь, Исидор использует и понятийно формализует слово *contextus*:

«Грамматика есть наука о правильном говорении, начало и основа свободных искусств (*liberalium litterarum*) <...> “Речь” (*oratio*) произносима как “разум рта” (*oris ratio*), ведь и пользоваться речью есть говорить и произносить. Но речь – это и связь слов (*contextus verborum*) с мыслью. Связь (*contextus*) же без мысли не есть речь, поскольку тогда она не разум рта. Речь же полна мыслью, голосом и письмом» (*Isidorus. Etymologiarum. 1.5.3*)⁶⁰.

Интерпретация речи – там, где мы предполагаем за нею полноту ее выражения, – подразумевает, таким образом, представление о потенциальном контексте речевой формы и стоя-

⁵⁹ *TeSelle E. Crede ut intellegas // Augustinus—Lexikon / Ed. Cornelius Mayer et al. Vol. 2. Basel; Stuttgart: Schwabe, 2003. S. 116—119* (с обширной библиографией).

⁶⁰ В эдиционной традиции настоящий пассаж выглядит следующим образом: «*Grammatica est scientia recte loquendi, et origo et fundamentum liberalium litterarum <...> Oratio dicta quasi oris ratio. Nam orare est loqui et dicere. Est autem oratio contextus verborum cum sensu. Contextus autem sine sensu non est oratio, quia non est oris ratio. Oratio autem plena est sensu, voce et littera*» (*Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay. 2 Vol. Oxford, 1911*). Прочтение фрагмента вызывает ряд переводческих сложностей в понимании связи предложений *Oratio dicta quasi oris ratio. Nam orare est loqui et dicere*. Если принять раздельное прочтение этих предложений, то приходится допустить, что Исидор либо опустил грамматически необходимый к *dicta* дополнительный глагол *est*, либо использовал *dicta* в качестве варваризма, заменяющего собой *dicitur*. В этом случае прочтение первого предложения объясняет понимание его так: «Про речь говорят, что она разум рта» (так, напр., оно переводится в издании: *Isidore of Seville's Etymologies / Transl. Priscilla Throop. LuLu.com, 2005. Vol. 1. («Oration is named oratio as if oris ratio»)*). Странно, однако, что Исидор в таком важном случае становится грамматически косноязычным и пользуется варваризмом вместо привычных для него возвратных глаголов. Вероятно, правильное понимание оба предложения как части одного сложноподчиненного предложения, в котором *dicta* выступает как причастие при *oratio*, объяснительный смысл которых усиливается дублирующими их далее *orare <...> et dicere*. Пунктуационная замена точки на тире допускается при этом некоторыми рукописями (напр., хранящимися в библиотеке Сан-Галлена рукописями IX века: *Cod.Sang 231: EwA. Die St. Galler Buchkunst vom 8. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. (Monasterium Sancti Galli 3). St. Gallen 2008. S. 444—446, Nr. 117; Cod.Sang 237: Scherrer G. Verzeichniss der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen. Halle 1875. S. 85—86 – воспроизведение страниц: <http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0237>. В этимологическом сближении «речи» и «разума рта» («*oratio – oris ratio*») Исидор следовал традиции, сложившейся уже в Античности (*Maltby R. A Lexicon of Ancient Latin Etymologies. Leeds (ARCA. Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs. Vol. 25), 1991. s.v. oratio*) и востребованной христианами авторами; например, в комментариях Сергия или Сервия к грамматическим сочинениям Доната: «*Oratio dicitur elocutio quasi oris ratio*» (в манускрипте VIII–IX веков *Cod. Sang. 876* из собрания библиотеки Сан-Галлена (*Scherrer G. Verzeichniss der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen. Halle, 1875. S. 303—305. <http://www.e-codices.unifr.ch/en/description/csg/0876>*), у Кассиодора в комментариях к Псалтырю: «*Oratio est oris ratio, quam prout allegamus vota nostra pendentes*» (*Cassiodorus. Expositio in Psalterium. Ps. 1. 38. PL 70. 285C*). Позднее этимологическое сближение «*oratio – oris ratio*» будет содержательно реинтерпретировано Фомой Аквинским в «Сумме теологии» в истолковании «*oratio*» как молитвы и «*oris ratio*» – как уст, открытых к Господу (*Summa theologiae 11a—11M. q. 83*). См. также: *Alford J.A. The Grammatical Metaphor: a Survey of its Use in the Middle Ages // Speculum. 1982. Vol. 57. № 4. P. 728—760*.*

щего за ней мыслимого содержания, судить о котором надлежит с опорой и на некие *внешние* по отношению к данной форме обстоятельства⁶¹. «Этимологики» самого Исидора служили при этом на протяжении столетий примером и инструментом контекстуализации в истолковании священных текстов⁶². Доктринальное убеждение, что библейские книги могут быть поняты из них самих, *технической* стороны дела при этом не меняло. Если *текст* Писания мог быть понят на основе формальных характеристик (и со временем, при появлении в 1634 году печатной версии греческой Библии в издании Эльзевиров за ним закрепится название «принятого текста» – «textus receptus»), то истолкование *контекста* Писания такой определенности, во всяком случае, не подразумевало, распространяя сферу истолкования библейского текста также и на другие соотносимые с ним тексты и знания.

Со временем – в противовес католическому богословию – реформаторская деятельность Лютера придаст принципу «самоинтерпретации» Писания своего рода герменевтическую обязательность: приписываемый Лютеру постулат о том, что *scriptura sacra sui ipsius interpretes*, то есть «святые писания [есть] свой собственный истолкователь», был непосредственно связан с отрицанием роли посредников для спасительного вероисповедания – с требованием руководствоваться «только верою, только благодатью, только Писанием» («*sola fide, sola gratia, sola scriptura*»)⁶³. Но тем важнее подчеркнуть, что сам принцип Лютера давал основания для его контекстуального истолкования – хотя бы потому, что он был сформулирован как оппонирующий принципам догматической теологии католицизма. Неудивительно поэтому, может быть, и то, что в последующей детализации методов контекстуального анализа особую роль сыграли именно протестантские богословы. Первым в этом ряду называется лютеранский богослов, профессорствовавший одно время в том же Виттенберге, где за несколько десятилетий до него преподавал Лютер, Маттиас Флациус Иллирийский (Matthias Flacius Illyricus; нем. Matthias Flach), настаивавший на необходимом различении смысла слов и их меняющихся в зависимости от контекста значений. Понимание книг Священного Писания, по мнению Флациуса (изложенному в «*Clavis Scripturae sacrae*», 1567), обязывает к последовательному выделению в них различных параллелей в употреблении слов и выражений, установлению соответствующих им контекстов и в свою очередь – к соотнесению этих контекстов с общим контекстом всего библейского текста, о смысле которого надлежит судить, исходя прежде всего из его цели. При следовании такому правилу можно надеяться, что в каждом конкретном случае, а в конечном счете и в целом «сам контекст прояснит для нас темное суждение» («*ut ipse contextus nobis obscuram sententiam illustret*»)⁶⁴.

Трактат Флациуса, а также труды его последователей и особенно Заломона Глассия (Salomon Glassius), составившего пятитомное пособие по библейской герменевтике («*Philologia Sacra*», 1623—1636)⁶⁵, предопределили дальнейшие дискуссии о концептуальных понятиях и принципах контекстуального анализа – смысле и значении, интенции

⁶¹ Ср.: Hübener W. «Oratio mentalis» und «oratio vocalis» in der Philosophie des 14. Jahrhunderts // Sprache und Erkenntnis im Mittelalter / Hrsg. J.P. Beckmann. Berlin; New York: de Gruyter (Miscellanea mediaevalia. Bd. 13/1), 1981. S. 488—497.

⁶² Fontaine J. Isidor IV // Reallexikon für Antike und Christentum / Hrsg. Ernst Dassman. Stuttgart: Anton Hiersemann, 1998. Bd. XVIII. S. 1002—1005; Ribemont B. Les origines des encyclopédies médiévales. D'Isidore de Séville aux Carolingiens. Paris: Honoré Champion (Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge. Vol. 61), 2001; Kuhlmann P. Theologie und historische Semantik: Historisierung von Wissen in Isidor von Sevilas Etymologiae // Millennium. 2006. S. 143—157.

⁶³ Mostert W. Scriptura sacra sui ipsius interpretes. Bemerkungen zum Verständnis der Heiligen Schrift durch Luther // Mostert W. Glaube und Hermeneutik: Gesammelte Aufsätze. Tübingen, 1998. S. 9—41.

⁶⁴ Flacius Clavis. II. S. 15 (цит. по: Dilthey W. Leben Schleiermachers. Bd. 2. Schleiermachers System als Philosophie und Theologie. Berlin, 1961. S. 759). Подробно: Geldsetzer L. Matthias Flacius Illyricus und seine Hermeneutik. Düsseldorf: Stern Verlag, 1969; Stuhlmacher P. Vom Verstehen des Neues Testaments. Eine Hermeneutik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Grundrisse zum Neuen Testament. Bd. 16), 1986. S. 111—113; Diebner B.J. Matthias Flacius Illyricus: Zur Hermeneutik der Melanchthon-Schule // Melanchthon in seinen Schülern / Hrsg. H. Scheible. Wiesbaden (Wolfenbütteler Forschungen. Bd. 73), 1997. S. 157—182. См. также: Шнем Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. 1989. С. 234—265.

⁶⁵ Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 1879. Bd. 9. S. 218—219.

и рецепции, а также взаимосотнесении «контекста слов» («contextus verborum») и «полного контекста» («totus contextus») – проблеме, которая позже будет сформулирована Шлейермахером как принцип герменевтического круга: понимание целого складывается из понимания отдельных его частей, а понимание частей – из предварительного понимания целого⁶⁶. Схожим образом формулировал *текстологические* правила классификации библейских рукописей старший современник Шлейермахера Иоанн Якоб Гризбах. В предисловии к подготовленному им (второму) изданию греческого Нового Завета (1796) в ряду критических (и эдиционных) принципов, способствующих, по его мнению, постижению «внутренних вероятностей» исходного текста, указывалось, что при имеющемся рукописном выборе правильнее доверять менее выразительным изречениям, которые, по его мнению, ближе к оригинальному написанию, чем противоречивым прочтениям, в которых заключена или видится бóльшая сила, «если только такой выразительности не требуют контекст и намерение автора»⁶⁷.

На русской почве наставления в принципах контекстуального анализа, частично воспроизводящие герменевтические правила установления «причин текста», можно найти у св. Димитрия Ростовского: «Отверзите умные очеса ваша и рассмотрите сами сия: 1) кто та словеса глагола? 2) где глагола? 3) в кая лета глагола? 4) чесо ради глагола? Та егда добре рассмотрите, сами свое толкование криво быти познаете»⁶⁸. О непосредственном знакомстве русских книжников с традицией западноевропейской теологической герменевтики остается судить предположительно⁶⁹, но главный постулат Флациуса, заключающийся в том, что текст Писания имеет смысл, не сводимый к контекстуальной множественности его значений, в начале XIX века получает отчетливое развитие и в православном богословии, – в частности, в трудах архиепископа Феофилета (Мочульского), специально подчеркивавшего, что различие смыслов, обнаруживаемых в библейских книгах в границах различных научных и догматических дисциплин, не должно заслонять всеобщего и единственного смысла божественной истины:

«Смысл в Священном Писании бывает Грамматический, Риторический, Логический, Аллегорический, Исторический, Пророческий и Приточный, притом буквальный и таинственный; но во всех сих смыслах есть точный разум истины, самим Богом нам предлагаемый чрез слова тогожде Писания или чрез означения оных»⁷⁰.

Позднее ту же идею развивал Павел Иванович Савваитов, оговаривавший, что, хотя «некоторые места Священного Писания вне состава речи могут давать много смыслов», «слова Писания должно понимать в том смысле, какой они имеют в связи с предыдущими и последующими понятиями, а не в отдельности от них». Тогда будет ясно, что «в каждом месте Писания подлинный буквальный смысл только один»⁷¹.

⁶⁶ Thouard D. Wie Flacius zum ersten Hermeneutiker der Modern wurde: Diltthey, Twisten, Schleiermacher und die Historiographie der Hermeneutik // Geschichte der Hermeneutik und die Methodik der textinterpretierenden Disziplinen / Hrsg. Jörg Schönert und Friedrich Vollhardt. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2005. S. 265—280.

⁶⁷ «Locutiones minus emphaticae, nisi contextus et auctoris scopus emphasin postulent, propius ad genuinam scripturam accedunt, quam discrepantes ab ipsis lectiones quibus major vis inest aut inesse videtur» (Novum Testamentum Graece. Editio secunda. Volumen I. IV Evangelia Complectens. Textum.; Recensuit J.J. Griesbach. Halle: Curt; London: Elmsly, 1796. Цит. по: <http://www.bible-researcher.com/rules.html>. (Курсив мой. – К.Б.)

⁶⁸ Туптало Димитрий. Розыск о раскольнической брынской вере, о учении их, о делах их и изъявлении, яко вера их не права, учение их душевердно и дела их не богоугодны. СПб., 1709. С. 118—119.

⁶⁹ К спорадическим свидетельствам такого рода можно отнести, в частности, курсы риторики, читавшиеся в духовных институтах Москвы и Санкт-Петербурга: см., например, русскоязычный перевод части трактата Заломона Глассия «Philologia Sacra» (Маркасова Е.В. «Священная риторика о тропах и фигурах» (1798) // <http://www.hazager.ru/metarethorics.html>).

⁷⁰ Феофилет, Архиепископ Курский и Белгородский. Драхма от сокровища божественных писаний Ветхого и Нового Завета. М., 1809. С. 36.

⁷¹ Савваитов П. Библейская герменевтика. СПб., 1859. С. 16, 14. Методологическое следование этому убеждению «1)

Характерно, что и наиболее раннее русскоязычное употребление слова «контекст» также связано с интерпретацией библейского текста – в предисловии к изданию так называемой Елизаветинской Библии 1751 года (перевод на церковнославянский язык греческой Септуагинты). Понятие «контекст» используется здесь в словосочетании «контекст истории», обозначающем последовательность библейских событий, которая позволяет прояснить и устранить кажущиеся противоречия отдельных фрагментов (в данном случае: «В прологе вмешана речь о Иосафате весма противно контексту истории»)⁷². В ряду терминов русской научной библеистики середины XIX века находит соответствующее употребление и словосочетание «контекст речи», используемое, в частности, в авторитетном «Введении в православное богословие» (1847) архимандрита (в конце жизни митрополита) Макария (М.П. Булгакова), для определения одного из «внутренних средств» «к уразумению истинного смысла Св. Писания»⁷³. В соответствии с давней герменевтической традицией изучения текста *extinsecus et intinsecus* к «внутренним» средствам Макарий относил при этом «а) словоупотребление, б) контекст речи, в) цель священной книги или известного места ея; г) параллелизм», а к «внешним» средствам – сведения «а) о писателе книги, б) о лицах, вводимых писателем, в) о времени написания книги и описываемых в ней событий, г) о месте написания книги и событий, в ней упоминаемых, д) о случае написания книги и прочих обстоятельствах»⁷⁴.

Традиция интерпретации библейских и церковных текстов может в целом считаться определяющей для становления европейской (и в свою очередь – отечественной) филологии, если понимать под этим термином не амплификацию методов, сложившихся преимущественно в классической филологии, с характерным для нее упором на критику текста⁷⁵, а социальную практику, основанную на психологической уверенности в том, что истолкование текстов оправдано их культурным и, что не менее важно, хотя и часто упускается из виду, *антропологическим* предназначением. Теолог и филолог, хотя и ставят перед собой разные задачи, равно претендуют на то, что интерпретируемые ими тексты небезразличны для человека – и притом не только для них самих, но и для некоего реального или воображаемого ими сообщества. Развитие герменевтики как теории, направленной на разработку методик понимания текста, можно считать симптоматичным именно в том отношении, в каком внимание к собственно технической методике контекстуального анализа уступает место – уже у Фридриха Шлейермахера – надеждам на *психологическую и мировоззренческую* способность исследователя к истолкованию авторского замысла (что в общем воспроизводит, но как бы «секуляризует» убеждение Августина в том, что верующий в состоянии понять Писание: общность веры, как условие понимания текста, распространяется у Шлейерма-

предотвращает произвол в изъяснении божественных истин личными соображениями толкователя, 2) ограничивает распространение или сокращение смысла в изъясняемом месте вопреки намерению Святого Духа и 3) способствует к точному определению понятий и мыслей, соединенных со слововыражениями священных писателей» (Там же. С. 54).

⁷² Библия сиречь книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1751. С. 11 (выражение учтено в: Словарь русского языка XVIII века. СПб., 1998. Вып. 10. С. 143). Словосочетание «контекст истории» является для русского языка, по-видимому, исходным, в котором употребляется понятие «контекст». Так, например, см. его употребление вне библейской тематики в: История разных славянских народов наипаче болгар, хорватов и сербов из тмы забвения изъята и во свет исторический произведенная Иоанном Раичем, архимандритом во Свято-Архаггелском монастыре Ковиля. Ч. 3. В Виене, 1794. С. 8 («однако целый контекст Истории впредь довольно покажет»). Важно подчеркнуть, что в обоих вышеприведенных случаях история – это как сама история, так и рассказ о ней: поэтому «исторический контекст» в этих случаях является также и собственно нарративным контекстом, «контекстом речи» (словосочетание, которое закрепится в богословско-герменевтических исследованиях XIX века – см. ниже).

⁷³ Введение в православное богословие. Соч. архимандрита Макария. СПб., 1847. С. 647. Позднее многократно переиздавалось. См. также: Булгаков М.П. История русской церкви. М., 1891. С. 482.

⁷⁴ Введение в православное богословие. Соч. архимандрита Макария. С. 647.

⁷⁵ Егунов А.Н. Атрибуция и аттеза в классической филологии // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России. 1997. СПб., 1997. С. 85–138.

хера на способность человечества к само– и взаимопониманию)⁷⁶. Дильтеевская концепция «жизни», постигаемой из опыта интроспективного переживания, придала этим надеждам методологическую основательность (подкрепляемую, в частности, и собственно филологической аргументацией, исходящей из того, что если текст – это то, что результирует предшествующий опыт понимания, то в этом качестве он может быть понят и его читателями: суть филологической работы состоит, с этой точки зрения, по известной формулировке Августа Бека, в «познании познанного» – «Erkennen des Erkannten»)⁷⁷. Важно подчеркнуть вместе с тем, что декларируемое Дильтеем, а после него Гуссерлем понимание «чужого как своего» в процессе «вживания», «вчувствования» и «сопереживания» предсказуемо антропологизировало и методологически важное для предшествующей герменевтики понятие контекста, распространяемое отныне на все многообразие связей, которые могут быть вменены тексту как репрезентации единого общечеловеческого мира (или, в терминологии Гуссерля, «жизненного мира»). Более того: последующее смыкание герменевтики с философией и превращение ее, по сути, в теорию познания (обязанное прежде всего Хайдеггеру и Гадамеру) придало и самой герменевтике статус контекста, предвосхищающего обнаружение в любом тексте, помимо тех или иных переменных значений, также и неких общеобязательных – сущностных – смыслов⁷⁸. Из технической дисциплины, направленной на прояснение смысла текста, герменевтика стала в конечном счете апологией субъективного исследовательского самопознания (среди тех, кто раньше других предвидел эту порочную, с его точки зрения, трансформацию, был Эмилио Бетти)⁷⁹.

Исторические превратности герменевтики, сначала как методики понимания библейского текста, а затем как теории философского (или квазифилософского) осмысления литературно-художественных текстов вообще, могут считаться, как я полагаю, исходными для формирования того круга значений, который в дисциплинах гуманитарного цикла связывается сегодня с понятием контекста. Лингвистическая спецификация этого понятия, которая кажется на сегодняшний день наиболее подробной и терминологически разработанной, оказывается, с этой точки зрения, вторичной по отношению именно к герменевтическим исследованиям, которые в своей историко-научной ретроспективе позволяют судить о его эвристическом использовании для указания на многообразие связей, которые могут быть обнаружены 1) внутри текста, 2) между текстом и другими текстами, 3) между текстом (а также текстом и другими текстами) и любыми жизненными обстоятельствами, которые допускают свою «текстуализацию» – придание тем или иным событиям, фактам, домыслам, чувствам и т.п. статуса предположительно возможного текста.

В стремлении придать понятию «контекст» облигаторно-методологическую целсообразность лингвисты исходят, как правило, из возможностей его дисциплинарно-предметной формализации, подразумевающей, что исследователь в состоянии разделять собственно «языковое окружение, в котором употребляется конкретная единица языка в тексте» (лингвистический контекст), как в пределах одного словосочетания или предложения (микроконтекст), так и вне их (макроконтекст), синтаксическую структуру, в рамках которой употреблено конкретное слово в тексте (синтаксический контекст), совокупность лексических

⁷⁶ О стадийности творческого процесса в понимании Шлейермахера: *Бласс Ф.* Герменевтика и критика. Одесса, 1891. С. 128 и след.

⁷⁷ *Horstmann A.* Zwischen Evidenz und Wahrscheinlichkeit: August Boeckhs «Erkenntnis des Erkannten» // *Unsicheres Wissen. Skeptizismus und Wahrscheinlichkeit. 1550—1850* / Hrsg. Carlos Spoerhase, Dirk Werle, Markus Wild. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009. S. 437—448.

⁷⁸ *Scholz O.R.* Die Vorstruktur des Verstehens. Ein Beitrag zur Klärung des Verhältnisses zwischen traditioneller Hermeneutik und «philosophischen Hermeneutik» // *Geschichte der Hermeneutik und die Methodik der textinterpretierenden Disziplinen* / Hrsg. Jörg Schönert und Friedrich Vollhardt. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2005. S. 443—462.

⁷⁹ *Betti E.* Die Hermeneutik als allgemeine Methodologie der Geisteswissenschaften. Tübingen, 1962.

единиц, в окружении которых используется конкретная единица текста (лексический контекст), и все то, что, хотя и не относится непосредственно к языковому окружению, помогает интерпретировать значения языковых единиц в высказывании, — время и место высказывания, сопутствующие ему события и эмоции, ольфакторные и проксемические условия, а также фоновые знания автора текста и его адресата (экстралингвистический или ситуативный контекст). Представление о контексте — имеется ли в виду отрывок текста, речи, фрагмент реальности и т.д. — подразумевает при этом относительную связанность его элементов. Но модальность или, точнее, медиальность такой связи оказывается принципиально разной уже на уровне текста, поскольку его собственная внутренняя связь (или в лингвистической терминологии: когерентность текста — от латинского *cohaerens*, взаимосвязанный) «проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как форма, содержание и функция»⁸⁰. Говоря проще, это означает, что связность текста не может быть определена в строго лингвистических категориях и имеет, на чем в отечественной науке настаивал, в частности, А.А. Леонтьев, нелингвистическую природу⁸¹. Признание этого обстоятельства выразилось, как известно, в осложненном расширении лингвистического анализа за счет учета когнитивных, психологических и поведенческих характеристик речевого общения.

Теоретической основой для такого расширения в наибольшей степени послужила «теория речевых актов», складывавшаяся с середины 1950-х годов как одно из направлений аналитической философии. Основополагающие для этой теории работы Джона Остина, Джона Роджерса Серля, Дэниэла Вандервеке, сосредоточенные на проблемах прагматики и логики коммуникации, оказались созвучными стремлению преодолеть ограничения структурно-композиционного анализа текста исследованием его функциональных свойств. Фундаментальное для теории речевых актов положение о том, что минимальной единицей человеческой коммуникации является не предложение или высказывание, а «осуществление определенного вида актов, таких как констатация, вопрос, приказание, описание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т.д.»⁸², стало при этом и теоретической основой для пересмотра природы связности текста и связности взаимодействующего с ним контекста. Важную роль в этом пересмотре сыграли работы основателя Лондонской лингвистической школы Джона Руперта Ферса, с именем которого связывается и становление лингвистически специализированной «теории контекста». По мнению Ферса, развивавшего в данном случае этнографические наблюдения Бронислава Малиновского⁸³, высказывание получает смысл в ситуативном и социальном контекстах и само является функцией такого контекста, описание которого обязывает к учету информационной, коммуникативной и ролевой структуры общения⁸⁴. В последующих дискуссиях о принципах, позволяющих судить о природе связей, которые могут быть установлены между высказыванием, текстом, речевой и социальной ситуацией, исследователи предсказуемо указывали на необходимость функционального понимания контекста⁸⁵. Так, в частности, предполагалось, что распространение

⁸⁰ Москальская О.И. Грамматика текста. М., 1981. С. 17.

⁸¹ Леонтьев А.А. Признаки связности и цельности текста // Лингвистика текста. Материалы научной конференции. М., 1975. Ч. 1. С. 2—10, 168—172. См. также: Тураева З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика). М., 1986. С. 6—10, 81—83.

⁸² Searle J.R., Kiefer F., Bierwisch M. Speech act theory and pragmatics. Dordrecht; Boston; London: D. Reidel, 1980. P. VII.

⁸³ Malinowski B. The Problem of Meaning in Primitive Languages // The Meaning of Meaning / Ed. C.K. Ogden and I.A. Richards. Supplement I. New York: Harcourt Brace, 1923; Malinowski B. An Ethnographic Theory of Language // Malinowski B. Coral Gardens and Their Magic. London: Allen and Unwin, 1935. Vol. II. Part IV.

⁸⁴ Firth J.R. Papers in Linguistics 1934—1951. London: Oxford University Press, 1957. P. 29.

⁸⁵ Из наиболее важных работ в этом направлении: Halliday M.A.K. Explorations in the Functions of Language. London: Edward Arnold, 1973; *Idem*. Learning How to Man: Explorations in the Development of Language. London: Edward Arnold, 1975; *Idem*. Language as Social Semiotic: Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold, 1978. См. также: Hasan

так называемого «принципа композиционности» Готлоба Фреге на сферу речевого взаимодействия позволит «алгоритмически» интерпретировать составные части речевого общения таким образом, чтобы получить его целостную интерпретацию⁸⁶, объяснить, почему и за счет каких формальных признаков внешне независимые друг от друга высказывания образуют связный дискурс⁸⁷ и как, в частности, связаны между собой «ясность» высказывания с достижением риторических и коммуникативно прагматических целей (или иначе говоря: какими иллокутивными средствами достигаются те или иные перлокутивные эффекты)⁸⁸ и т.д. В отечественной науке лингвистическая теория контекста с наибольшей обстоятельностью разрабатывалась Н.Н. Амосовой, определявшей контекст как сочетание многозначного слова (ядра) и соотносимых с ним единиц-индикаторов, от характера которых зависит выделение нескольких типов контекста – как собственно лингвистических (таковы, по ее мнению, лексический, грамматический и лексико-грамматический типы), так и внеязыковых, указывающих на условия, в которых протекала речь («речевая ситуация», подразделяемая ею на «жизненную ситуацию», «описательную ситуацию», а также «тематическую, или сюжетную, ситуацию»)⁸⁹. Позднее Джон Гамперц схожим образом предложил выделять в речевом высказывании так называемые «намеки контекстуализации» («contextualization cues»), подразумеваемая под ними любые проявления лингвистического характера, позволяющие судить о контекстуальных предпосылках коммуникации⁹⁰.

Лингвистические споры о связности текста и/или контекста не прошли бесследно и для литературоведения. Так, например, Майкл Риффатер считал возможным говорить о «стилистическом контексте» как своеобразном механизме кодирования и декодирования художественной информации. В своей собственно текстологической «опознаваемости» стилистический контекст, по Риффатеру, представляет собою отрезок текста, ограниченный элементами низкой предсказуемости. Понимание художественного текста требует поэтому от исследователя прежде всего чуткости к семантической конфигуративности и поливалентности авторской речи, сама интерпретация которой оказывается при этом принципиально творческой и зависящей от интерпретатора⁹¹. В отечественной науке схожие мысли высказывались с оглядкой на М.М. Бахтина, щедрого на рассуждения о писательско-читательском «диалогизме» и о том, что «каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило»⁹². Сравнительно недавно тезис о «творческом» понимании стилистического контекста

R. Meaning, Context and Text: Fifty Years after Malinowski // *Systemic Perspectives on Discourse*. Vol. 1 / Ed. James D. Benson and William S. Greaves. Norwood: Ablex, 1985.

⁸⁶ Harnish R.M. A projection problem for pragmatics // *Selections from the Third Groningen Round Table* / Ed. F. Heny, H.S. Schnelle. New York etc.: Acad. Press, 1979. P. 316 ff.

⁸⁷ Brown G., Yule G. *Discourse analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

⁸⁸ Steinmann M.G. Speech-act theory and writing // *What writers know: The language, process, and structure of written discourse* / Ed. M. Nystrand. New York etc.: Acad. Press, 1982. P. 291 ff.

⁸⁹ Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963. См. также: Мыркин В.Я. Типы контекстов. Коммуникативный контекст // *НДВШ. Филологические науки*. 1978. № 1. С. 95—100; *Он же*. Язык – речь – контекст – смысл. Архангельск, 1994; Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М., 1980; *Он же*. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.

⁹⁰ Gumperz J.J. *Discourse strategies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. P. 131 («Any feature of linguistic form that contributes to the signalling of contextual presuppositions»). См. также: *Idem*. Contextualization and understanding // *Rethinking Context. Language as an Interactive Phenomenon* / Ed. Alessandro Duranti & Charles Goodwin. Cambridge: Cambridge University Press (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language. Vol. 11), 1992. P. 229—252; Levinson S.C. Contextualizing «contextualization cues» // *Language and interaction: discussions with John J. Gumperz* / Ed. S. Eerdman, C. Prevignano, P. Thibault. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002. P. 31—39.

⁹¹ Riffaterre M. Stylistic Context // *Word*. 1960. Vol. 16. P. 207—218; *Idem*. The Stylistic Approach to Literary History // *New Literary History*. 1970. № 2. P. 39—55. См. также: Schulte-Sasse J. Aspekte einer kontextbezogenen Literatursemantik // *Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft*. München, 1974. S. 259—274.

⁹² Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 106. Для Бахтина, понимавшего смысл сообщения, как каждый раз рождающийся в ситуации диалога, контекст, в отличие от кода, «потенциально незавершенным», а код – «умерщвленный контекст» (Бахтин М.М. Из записей 1970—1971 годов // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искус-

ста применительно к художественной, и особенно поэтической, речи получил теоретическое развитие у И.В. Арнольд, считающей, что понимание и, соответственно, интерпретация художественного текста должны основываться не на минимуме, а на максимуме дистантных связей, которые могут быть установлены между словами и возможными ассоциациями в тезаурусе читателя⁹³.

Важно заметить, что представление о стилистическом контексте в последних случаях фактически уравнивает понятия контекста и интертекста – еще одного понятия, которое становится широко востребованным в литературоведении 1970—1980-х годов⁹⁴. Любопытно, что в историко-научной и именно филологической ретроспективе понятие интертекста явилось производным для понятия «гипертекст», обсуждение которого уже во второй половине 1960-х годов предполагало, в частности, создание такой электронной библиотеки, которая бы обеспечивала *одновременный* доступ к различным текстам с возможностью их лексико-семантического соотнесения. Пионерскую роль в обсуждении таких возможностей сыграл Тед Нельсон (Теодор Холм Нельсон), которому приписывается изобретение самого понятия «гипертекст» (в 1965 году) и создание в конце 1970-х годов первого проекта системы электронного сохранения и поиска «книжной» информации в режиме онлайн с помощью интерактивных «окон» (проект Xanadu)⁹⁵. Гипертекст, как его определял сам Нельсон, представляет собой «непоследовательное письмо (non-sequential writing) – текст, который ветвится и ставит читателя перед выбором и лучше всего прочитывается на интерактивном экране. Выражаясь совсем просто: это ряд текстовых отрывков (a series of text chunks), связанных звеньями (link), которые предлагают читателю различные направления для чтения»⁹⁶.

Последующее развитие компьютерных технологий в еще большей степени содействовало тому, что сам термин «гипертекст», давший в конечном счете название разработанному Тимом Бернерсом-Ли в начале 1990-х годов языку стандартной разметки документов в Интернете – HyperText Markup Language (HTML)⁹⁷, стимулировал или, во всяком случае, сопутствовал смысловому расширению понятия «текст» и в тех научных дисциплинах,

ство, 1979. С. 352).

⁹³ «Стилистический контекст есть иерархически организованное множество связей поэтического слова, заданное тезаурусом текста и обуславливающее синкретичность его значения» (Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики. СПб., 2002. С. 18). «Функция стилистического контекста состоит не в том, чтобы снять многозначность (это функция языкового контекста), а, напротив, в том, чтобы добавить новые значения, создать комбинаторные приращения смысла» (Там же. С. 71).

⁹⁴ Intertextuality: Theories and Practices / Ed. Michael Worton and Judith Still. Manchester; New York: Manchester University Press, 1990; Influence and Intertextuality in Literary History / Ed. Jay Clayton & Eric Rothstein. Madison: The University of Wisconsin Press, 1991; Intertextuality / Ed. Heinrich F. Plett. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991; Ильин И.П. Интертекстуальность // Современное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. М., 1999. С. 204—205. См. также: Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М., 2007; Литвиненко Т.Е. Интертекст в аспектах лингвистики и общей теории текста. Иркутск, 2008.

⁹⁵ Nelson T. Literary Machines: The report on, and of, Project Xanadu concerning word processing, electronic publishing, hypertext, tinkertoys, tomorrow's intellectual revolution, and certain other topics including knowledge, education and freedom. Sausalito: Mindful Press, 1981. См. также: Freiburger P., Swaine M. Fire in the Valley. The Making of the Personal Computer. Osborne/McGraw-Hill; Berkeley, California, 1984 (русский перевод: Фрейбергер П., Свейн М. Пожар в долине: История создания персональных компьютеров. М., 2000); Text, ConText, and HyperText. Writing with and for the computer / Ed. Edward Barrett. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988; Nielsen J. Hypertext and Hypermedia. London: Academic press, 1993; Wolf G. The Curse of Xanadu. June 1995 // www.wired.com/wired/archive/3.06/xanadu_pr.html; Частиков А.П. Архитекторы компьютерного мира. СПб., 2002.

⁹⁶ Nelson T. Literary Machines. 0/2. В информационных технологиях понятие nonsequential обозначает принудительный порядок выполнения операций.

⁹⁷ О теории гипертекста в теории информатики и компьютерных технологиях: Hofman F. Hypertextsysteme – Begrifflichkeit, Modelle, Problemstellungen // Wirtschaftsinformatik. 1991. Heft 3. S. 177—185; Hypertext/Text/Theory / Ed. George P. Landow. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1992; Landow G.P. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. 1994; Bernstein M. Patterns of hypertext // Proceedings of Hypertext. New York: ACM, 1998.

для которых он был или стал теоретически ключевым в 1970—1990-х годах, – в лингвистике, литературоведении, фольклористике, поэтике, стилистике, семиотике, герменевтике, лингвокультурологии и т.д. В филологически ориентированных направлениях гуманитарной мысли этих лет утверждение аксиоматики не линейного, но *ризоморфного* прочтения текста, открывающего себя в структурном и содержательном соотношении с другими текстами некоего общего для них (гипер)текстуального пространства, преимущественно связывается с именами Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Женетта, Ф. Соллерса, П. де Мана, М. Риффатера, Ж. Деррида, а также представителей так называемой французской «генетической критики» (принципиально ориентировавшихся на использование компьютерных возможностей для реинтерпретации понятия «авторский текст» как суммы «конечного» и «предшествующих» ему текстов)⁹⁸. Теоретические дискуссии о природе текста, выразившиеся, в частности, в целом ряде терминологических новообразований – приставочных производных от термина «текст» понятий авантекста, автотекста, аллотекста, антитекста, архетекста, архитекта, генотекста, гипертекста, гипотекста, затекста, интертекста, интекста, интратекста, инфратекста, квазитекста, ксенотекста, макротекста, метатекста, микротекста, минитекста, монотекста, мультитекста, мегатекста, надтекста, онтотекста, паратекста, перитекста, подтекста, политекста, посттекста, пратекста, пре(д)текста, прототекста, псевдотекста, сверхтекста, сотекста, стереотекста, субтекста, супертекста, транстекста, унитекста, фенотекста, экстратекста и эпитекта, – существенно осложнили представление о статической структуре текста ее динамическими проекциями диахронического и синхронического порядка. Каждое из этих понятий заслуживает отдельного обсуждения, но в целом теоретические мотивы их появления можно свести к трем концептуальным инновациям филологической и философской рефлексии последней трети XX века: 1) лингвистическому истолкованию текста как взаимосвязи синхронической и диахронической структуры высказывания (в развитие соссорианской дихотомии языка/речи), 2) детализации системных (прежде всего – генетических) стадий создания и воспроизведения текстов в культуре (детализации, потребовавшей понятийного обособления в тексте его феноменологических составляющих) и – не в последнюю очередь – 3) философской реактуализации старинной метафоры «мир – текст»⁹⁹.

Сознательному, а чаще неотрефлексированно инерционному использованию понятия «контекст» в лингвистике и литературоведении в эти же годы сопутствует и амплификация такого употребления в социальных науках – социологии, антропологии, истории и теории культуры и т.д. «Антропологизация» и «социологизация» лингвистического понимания контекста в существенной степени подразумевались уже теорией речевых актов, сторонники которой настаивали на необходимости изучения общих презумций, предпосылок и последствий актов коммуникации в терминах социальной динамики – отношений зависимости и эквивалентности¹⁰⁰. Изучение текста в свете языковой прагматики по своему определению подразумевало смещение исследовательского внимания в сторону «комплекса внеш-

⁹⁸ Вайнштейн О. Удовольствие от гипертекста (генетическая критика во Франции) // Новое литературное обозрение. 1995. № 13; Генетическая критика во Франции: Антология / Сост. Е.Е. Дмитриева. М., 1999.

⁹⁹ Здесь я вполне солидарен с Татьяной Литвиненко, видящей за многообразием и продуктивностью соответствующих понятийных дериватов общетеоретические закономерности лингвистической и философской мысли: Литвиненко Т.Е. О статусе производных имен с формантом «-текст» в современной теории текста // Вестник Красноярского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2006. № 3/1. С. 184—185 (http://library.krasu.ru/ft/ft_articles/0103749.pdf).

¹⁰⁰ Allwood J. A critical look at speech act theory // Logic, pragmatics and grammar / Ed. Dahl Lund. University of Göteborg, Dept. of linguistics, 1977. P. 67; Merin A. Where it's at (is what English intonation is about) // CLS. 1983. Vol. 19. P. 283—298; Hasan R. What's Going on? A Dynamic View of Context in Language // The Seventh LACUS Forum / Ed. J.E. Copeland and P.W. Davis. Columbia: Hornbeam Press, 1980; Idem. Ways of Saying: Ways of Meaning // The Semiotics of language and Culture. Vol. I. Language as Social Semiotic / Ed. R.P. Fawcett, M.A.K. Halliday, S.A. Lamb, and A. Makkai. London: Frances Pinter, 1984.

них условий общения» и ответ на вопросы: «кто – кому – о чем – где – когда – почему – зачем – как?»¹⁰¹ Литературоведческая интерпретация текста с акцентом на исторические, культурные, а главное – психологические и эмоциональные особенности его восприятия придали при этом самой методике контекстуализации не только выборочный, но и зачастую декларативно парадоксальный характер, оправдываемый (например – в рамках влиятельной в 1970-х годах школы «рецептивной эстетики» Ханса-Роберта Яусса и Вольфганга Изера) возможностями читательского, а значит, и исследовательского *воображения и вымысла*¹⁰². Неудивительно, что прилагательные, детализирующие содержательные и формальные референты понятия «контекст», на сегодняшний день исключительно разнообразны: эксплицированный (и эксплицитный), имплицированный (и имплицитный), вербальный, невербальный и паравербальный, непосредственный и опосредованный, линейный и структурный, вертикальный и горизонтальный, акциональный и прагматический, физический и психологический, поведенческий и фольклорный, метафорический и мифологический, поэтический и мифопоэтический, социальный, бытовой, гендерный, театральный, топонимический, климатический, политический и экономический, описываемый в категориях экзистенциального «порядка» и «беспорядка», эксплицируемый с акцентом на коммуникативную, сигнификативную и генеративную сторону и т.д.¹⁰³

Разнообразие определений контекста и та роль, которая отводится этому понятию в лингвистике и литературоведении, способны сегодня, вероятно, вызвать скептические раздумья о взаимопонимании исследователей, которые так или иначе объединены интересом к (пусть и предельно широко понимаемым) результатам языковой деятельности человека. Но можно сказать и иначе: основой взаимопонимания в этих случаях является убеждение в самой возможности *контекстуализации текста*. Воодушевление гоголевского Петрушки, недоумевавшего, что «из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит»¹⁰⁴, вполне иллюстрирует в этом случае парадокс, сопутствующий представлению о контексте: подобно тексту, понимание которого может строиться как на основе его слышимой и/или видимой атрибутики – связи букв, слов, предложений и т.д., так и на возможностях их мыслимого транспонирования, понятие «контекст» также подразумевает дихотомию его «предметных» и мыслимых, образных признаков. С этой точки зрения наиболее простым смысловым различием всех возможных контекстов является их различие по степени и характеру рецептивной непосредственности: так, например, можно говорить о контекстах очевидных и неочевидных, слышимых и неслышимых, осязаемых и неосязаемых¹⁰⁵. Об инструментальных выгодах такого различения можно судить, в частности, приме-

¹⁰¹ Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова. Ташкент, 1988. С. 38. См. также: Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. С. 147–152.

¹⁰² Fohrmann J. Textzugänge. Über Text und Kontext // Scientia Poetica. Jahrbuch für Geschichte der Literatur und der Wissenschaften. 1997. Bd. 1. S. 207–223; Brenner P.J. Das Problem der Interpretation. Eine Einführung in die Grundlagen der Literaturwissenschaften. Tübingen: Niemeyer, 1998. S. 285–322; Verhandlungen mit dem «New Historicism». Das Text—Kontext—Problem in der Literaturwissenschaft / Hrsg. Jörg Glauser und Annegret Heitman. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999.

¹⁰³ Bates E. Language and context. 1976; Ахманова О.С., Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема // Вопросы языкознания. 1977. № 3; Givón T. Mind, Code and Context: Essays in Pragmatics. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1989; The Contextualisation of Language / Ed. Peter Auer and Aldo Di Luzio. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (Pragmatics & Beyond. New Series. Vol. 22), 1992; Ben-Amos D. «Context» in Context // Western Folklore. 1993. Vol. 52. № 2–4. P. 215–220; Rethinking Context. Language as an Interactive Phenomenon / Ed. Alessandro Duranti & Charles Goodwin. Cambridge: Cambridge University Press (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language. Vol. 11), 1992 (repr. 1993, 1997); Text and Context in Functional Linguistics / Ed. Mohsen Ghadessy. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Vol. 169), 1999; Text und Kontext. Theoriemodelle und methodische Verfahren im transdisziplinären Vergleich / Hrsg. Oswald Panagl und Ruth Wodak. Würzburg, 2004.

¹⁰⁴ Гоголь Н.В. Мертвые души // Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 5. С. 22.

¹⁰⁵ Ср.: Harris M. Language Experience and Early Language Development: From Input to Uptake. Hove: LEA (Essays in Developmental Psychology Series), 1992. P. 95ff. Заметим здесь же, что в приложении к проблематике компьютеризации естественного языка под определение «контекст» подводятся любые «фиксированные аспекты дискурса», а под определение

нительно к разработке универсальных культурных категорий, которые, как предполагается, способствуют сопоставительному описанию культур. В ряду базовых парадигм культурного опыта набор универсальных понятий кросс-культурной компаративистики включает сегодня также популяризованную Эдвардом Холлом дихотомию «высокого» и «низкого контекста» (low/high context culture). Под «низким контекстом» при этом понимается информация, которая ограничена рецептивным характером текста (или, говоря иначе, его медиальной достаточностью – очевидностью, слышимостью, осязаемостью), под «высоким» – внешние обстоятельства, связанные с текстом опосредованно или мыслимо: интонация, жестикуляция, проксемика и социальные нормы, «фоновые знания» коммуникантов, географические и климатические условия коммуникации и т.д. Подразумевается, что сопоставление культур, с этой точки зрения, позволяет судить о различной степени важности для их представителей «низкого» и «высокого» контекста: в предельном виде такие различия сводятся к тому, что если в одном случае главное внимание обращается на то, что сказано, то во втором – на то, как сказано, кем сказано и о чем *не* сказано¹⁰⁶.

Дискуссии о целесообразности понятий «высокого» и «низкого» контекста применительно к сопоставлению культур касаются сегодня самых различных сторон социальной деятельности – от обсуждения политических и экономических проблем до информационных особенностей интернет-дизайна, практик образования, менеджмента и бизнес-этики в разных странах¹⁰⁷. В принципе нетрудно представить, что такая классификация может быть применена и к изучению литературно-художественных текстов, которые, вероятно, так или иначе коррелируют с ценностными предпочтениями тех культур, внутри которых они создаются и успешно функционируют. Так, например, можно думать, что для культур «низкого контекста» (к каковым Холл относил – по степени их приближения к странам «высокого контекста» – германоязычные страны, Скандинавию, США, Францию, Великобританию), с характерными для них приоритетами информационной точности и фактологической достаточности, более корректной является такая контекстуализация текста, которая ограничена его рецептивной данностью, тогда как для культур низкого контекста (Япония, арабские страны, Греция, Испания)¹⁰⁸ более важным является умение «читать между строк» и понимание обстоятельств, лежащих вне текста. Вместе с тем те же понятия могут быть обращены и к проблематике самого термина «контекст», вполне, как кажется, обнаруживающего в данном случае исходную для него антропологическую, а не собственно лингвистическую специфику.

Фактическое согласие исследователей использовать понятие «контекст» в качестве одного из базовых и при этом сравнительно «общепонятных» терминов филологии может

дискурса – «любые взаимодействия любых образов» (Валькман Ю.П. Контексты в процессах образного мышления: определение, отношения, операции. Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН Украины и МОН Украины (<http://www.ksu.ru/ss/cogsci04/science/cogsci04/46.doc>)).

¹⁰⁶ Hall E.T. *Beyond Culture*. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976; *Idem*. Context and meaning // *Intercultural Communication: A Reader*. 9th ed. // Ed. L.A. Samovar & R.E. Porter. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 2000. P. 34–43. См. также: Hofstede G. *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1980.

¹⁰⁷ Copeland L., Griggs L. *Doing International: How to Make Friends and Deal Effectively in the Global Market Place*. New York: Plume Press, 1986; Singh N., Pereira A. *The Culturally Customized Web Site*. Burlington, MA: Elsevier, 2005; Würtz E. A cross-cultural analysis of websites from high-context cultures and low-context cultures // *Journal of Computer-Mediated Communication*. 2005. Vol. 11. № 1. Article 13 (<http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue1/wuertz.html>); Dozier J.B., Husted B.W., McMahon J.T. Need for Approval in Low-Context and High-Context Cultures: A Communications Approach to Cross-Cultural Ethics // *Teaching Business Ethics*. 1998. Vol. 2. № 2; Richardson R.M., Smith S.W. The influence of high/low-context culture and power distance on choice of communication media: Students' media choice to communicate with Professors in Japan and America // *International Journal of Intercultural Relations*. 2007. Vol. 31. Issue 4. P. 479–501; Nguyen A., Heeler R.W., Taran M. High-low context cultures and price-ending practices // *Journal of Product & Brand management*. 2007. Vol. 16. Issue 3. P. 206–214.

¹⁰⁸ Hall E.T., Hall M.R. *Understanding Cultural Differences*. Yarmouth, ME: Intercultural Press Inc., 1990. Россию, следуя той же логике, относят к странам «высокого контекста» (Adair W.L., Brett J.M. *Culture and Negotiation* // *The Handbook of Negotiation and Culture* / Ed. M.J. Gelfand, J.M. Brett. Stanford: Stanford University Press, 2004. P. 166–167).

служить при этом очередной иллюстрацией не только неполноты и внутренней противоречивости концептуальных схем в науке¹⁰⁹, но также относительной достаточности взаимопонимания, которое, вслед за Львом Якубинским, можно было бы определить как «шаблонное»¹¹⁰ — с той, впрочем, оговоркой, что оно свидетельствует не (только) о сбоях в научной коммуникации, а прежде всего — о самом ее наличии.

¹⁰⁹ Davidson D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme // *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*. 1974. Vol. 47. P. 5—20 (рус. перевод: Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // *Аналитическая философия: Избранные тексты* / Сост. А.Ф. Грязнов. М., 1993. С. 144—159). Отдельной проблемой при этом, конечно, является вопрос о согласованном понимании самой филологии как научной дисциплины: Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук (Вып. первый. Задачи филологии) // *Проблемы структурной лингвистики*. 1978. М.: Наука, 1981; Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981; Степанов Г.В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста // *Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения*. М.: Наука, 1982; Аверинцев С.С. Филология // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М., 1990; Леонтьев А.А. Надгробное слово «чистой» лингвистике // *Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Тезисы международн. конф.* Т. II. М., 1995; Гиндин С.И. Г.О. Винокур в поисках сущности филологии // *Известия РАН. Сер. литературы и языка*. 1998. Т. 57. № 2.

¹¹⁰ Якубинский Л.П. О диалогической речи (1923) // Якубинский Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986. С. 45—50.

РИТОРИКА ВОСТОРГА И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Восторг есть напряженное состояние единого воображения.
А.С. Пушкин

По пояснению словарей, слово «восторг» обозначает «бурную положительную эмоцию», «необыкновенный подъем чувств, экстаз, упоение»¹¹¹. Как и всякая эмоция, восторг не обязательно выражается словами и, даже если он опознается в преимущественном указании на акт речи, во всяком случае не обязывает к членораздельности¹¹². Если на письме знаком сентиментальной меланхолии стало многоточие (введению которого в русской литературе сильно поспособствовал Н.М. Карамзин)¹¹³, то для восторга таковым должен, вероятно, считаться восклицательный знак, а еще точнее повторяющийся ряд восклицательных знаков, своего рода «многовосклицание». Так, в одном из ранних рассказов А.П. Чехова заподозренный в незнании правил препинания коллежский секретарь мучительно вспоминает, в каких случаях восклицательный знак ставится в официальных бумагах, пока в психотичном озарении не венчает им свою роспись «Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!». «И, ставя эти три знака, – продолжает Чехов, – он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом»¹¹⁴. На письме сильные эмоции требуют внелексических средств, в устной риторике – внесловесных усилий – голосовых модуляций, экспрессивной мимики и жестикуляции.

Риторические наставления, касающиеся восторга, иллюстративны при этом и к тем контекстам, в которых его переживание служит темой специальной рефлексии и целенаправленной аргументации. Для европейской культурной традиции таким – наиболее общим – контекстом должно быть, вероятно, сочтено богословие. В католической, протестантской и православной традиции размышления на тему восторга тиражируются неравномерно, но в той или иной степени объясняются гомилетически: восторг рекомендуемо сопутствует практикам богослужения и молитвы¹¹⁵. Так, по наставлению Макария Великого,

«будучи восхищен молитвой, человек объемлется бесконечной глубиной того века и ощущает он такое неизреченное удовольствие, что всецело восторгается парящий и восхищенный ум его, и происходит в мыслях забвение об этом земном мудровании, потому что переполнены его помыслы и, как пленники, уводятся у него в беспредельное и непостижи-

¹¹¹ Толковый словарь русского языка: В 4 т. М., 1935. Т. 1; Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под ред. Ю.Д. Апресяна. М., 1997. С. 37.

¹¹² Важно отметить при этом, что использование существительного «восторг» отличается от использования глагола «восторгаться», подразумевающего сравнительно большую вербализованность соответствующей эмоции (см. аналогичное противопоставление глаголов «восхищаться» и «восторгаться» в: Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск / Под общ. ред. акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2000. С. 34–38, где, однако, не оговариваются семантические особенности в употреблении однокоренных существительных и глаголов).

¹¹³ Николай Греч вспоминал о своем наставнике – «франте и моднике» начала XIX века: «Он читал с восторгом “Бедную Лизу” и любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину» (Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930. С. 168). Об экспрессивной роли бессоюзных предложений и, в частности, употреблении тире у Карамзина см.: Байкова Л.С. Структура и стилистическая направленность бессоюзных предложений в языке Н.М. Карамзина. Таллин: Валгус, 1967.

¹¹⁴ Чехов А.П. Восклицательный знак // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 4. [Рассказы, юморески], 1885–1886. М.: Наука, 1976. С. 270.

¹¹⁵ Греч. #ὑποστασμός, лат. entousiasmós, ecstasis, нем. Ekstase, Entzücken, Begeisterung, франц. enthousiasme, extase, итал. etusiasmo, estasi, англ. enthusiasm, delight, ecstasy. См.: McCahn L. Enthusiasm // New Catholic Encyclopedia. New York et al.: McGraw-Hill, 1967. Vol. 5. P. 446–449; Dunn J.D., Hempelmann R. Enthusiasmus // Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft / Hrsg. H.D. Betz, D.S. Browing, B. Janowski, E. Jüngel. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. Bd. 2. Spalt. 1327–1327.

мое, почему в этот час бывает с человеком, что, по молитве его, вместе с молитвой отходит и душа»¹¹⁶.

Православные богословы не скупятся на словосочетания «восторг веры», «восторг молитвы», «молитвенный восторг»¹¹⁷, хотя иногда и оговариваются в необходимости отличать духовный восторг, восторг умиления от чрезмерного экстатического возбуждения. Так, Феофан Затворник в осуждении излишней восторженности при молитве наставительно писал о том, что

«избави нас Господи от восторженных молитв. Восторги, сильные движения с волнениями суть просто кровавые душевные движения от распаленного воображения. Для них Игнатий Лойола много написал руководств. Доходят до сих восторгов и думают, что дошли до больших степеней, а между тем все это мыльные пузыри. Настоящая молитва тиха, мирна; и такова она на всех степенях. У Исаака Сириянина указаны высшие степени молитвы, но не помечены восторги»¹¹⁸.

Но и при таких оговорках (как правило и, как это видно по контексту высказывания того же Феофана, направленных на критику католического мистицизма) слова «восторг» и частично синонимичные к нему «радость», «умиление», «упоение», «ликование» были и остаются по сей день преимущественно позитивными понятиями вероучительного словаря¹¹⁹. Среди примеров такого словоупотребления находим и сравнительно недавнюю проповедь настоятеля одного из подмосковных храмов, специально посвященную восторгу:

«У слова “восторг” интересная этимология. Вспомним другое слово с этим корнем “исторгнуть” – вырваться. Восторженный откуда-то вырван. Откуда же? Он вырван из измерения времени. Когда человек в восторге, он не чувствует времени, он не знает, сколько

¹¹⁶ Попов И.В. Мистическое оправдание аскетизма в творениях Макария Египетского. 1905. С. 47.

¹¹⁷ См. например, у святителя Филарета: «И видно, сильно их объял *восторг молитвы* Апостольской: потому что и чудо над ними совершилось» (Слово по освящении храма Пресвятыя Богородицы // Слова и речи. Т. 4. № CCLVIII); «Дух Святой, которому предалась Она в восторге молитвы, просветил в сие время Ея ум, подвигнул Ея уста, и Она изрекла то, что предопределил о Ней Бог, и что, под руководством Его провидения, должна в отношении к Ней исполнить Вселенская Церковь» (Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы // Слова и речи. Т. 4. № CCXXIII).

¹¹⁸ Епископ Феофан. Письма о христианской жизни. Письмо 14.

¹¹⁹ За богословами следовали литераторы: так Гоголь, воодушевленный пафосом мистического богословия (и в частности текстами осуждаемого Феофаном Затворником Игнатия Лойолы), в 1843 году письменно наставлял Н.М. Языкова: «Молитва не есть словесное дело; она должна быть от всех сил души и всеми силами души; без того она не возлетит. Молитва есть восторг. Если она дошла до степени восторга, то она уже просит о том, чего Бог хочет, а не о том, чего мы хотим» (Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. Т. 9. С. 213). У Василия Розанова контекстуально (и также не без «молитвенных» коннотаций) соотносятся «восторг» и «жалость»: «У ней было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге и в жалости» (Розанов В. Смертное (1913) // Наше наследие. 1989. № 12. http://www.krotov.info/libr_min/17_r/roz/anov6.htm). Замечу попутно, что синонимическое сопоставление «радости», «восторга», «умиления» и т.п. слов, обозначающих в русском языке положительные эмоции (Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М., 1994. С. 77), сильно осложняет представление о достаточности бинарных моделей при анализе «русской языковой картины мира». Таково, например, кажущееся мне схематичным и дезориентирующим противопоставление «радости» и «удовольствия» как примера «аксиологической поляризации» высокого и духовного – низкому и телесному (Пеньковский А.Б. Радость и удовольствие в представлении русского языка // Логический анализ языка: культурные концепты. М., 1991; Зализняк А.А. Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. С. 155–156. См., впрочем, высказанное в том же сборнике сомнение в четкой противопоставленности этих понятий в языке XIX века: Шмелев И.Д. Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов. С. 438). Столь же, на мой взгляд, схоластично таксономическое разделение явлений «внутренней жизни на “чувства”, которые охватывают, “состояния, в которые человек приходит” и “впечатления, которые нам что-то приносит и доставляет”» (Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Перемещение в пространстве как метафора эмоций // Логический анализ языка: Языки пространств. М., 2000. С. 280; Зализняк А.А. Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира. С. 163–164). И в том и в другом случае «восторг» – очень неудобное понятие, не укладывающееся в смысловое различие «духовной» радости и «телесного» удовольствия и вполне примиряющее (псевдо)различие между чувствами, в которые человек приходит, и чувствами, которые нам что-то доставляет (см. выражения «приходить в восторг», «доставить восторг» кому-н. и т.д. Подробно: Иорданская Л.Н. Восторг, восторгаться, восторженный // Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 14), 1984. С. 207–212).

длился его восторг – секунду или вечность, он не знает времени. <...> Рай – это восторг. Потерять рай – значит потерять восторг и войти в состояние времени, в состояние ощущение, оценки. Если ты оцениваешь свое счастье по тому, сколько оно длится – секунду или час – то ты явно не счастлив – счастливые часов не наблюдают. Но мы всю жизнь все оцениваем: “Нам было хорошо этот день”, – это уже сказано с великой грустью. То есть, день закончился, ночь закончилась и так далее...

Христос явился, чтобы вернуть нам рай, вернуть состояние восторга. Я не хочу говорить от чего, потому что меня могут спросить: “А чему восторгаться?” А так хочется сказать: “А всему!” Это как – всему? Непонятно... Надо сказать что-то конкретное. Но что проку говорить человеку, который не восторгается, чему восторгаться. Он все равно не будет восторгаться. Он так и будет жить, нет, не жить – а переминаясь с ноги на ногу и говорить: “День прошел, и слава Богу. Ночь прошла, и слава Богу. Жизнь прожил, и слава Богу”. Умирать время пришло... Все это очень грустно, в этом нет восторга. А если есть восторг, то нет того, что мы называем “рождение”, “жизнь”, “смерть”. Этого не существует, потому что не существует того, кто это бы назвал – ты исчез в состоянии восторга, ты растворился, ты испарился, потому что ты невероятнейшим образом присутствуешь в этой жизни в этот момент, но твое присутствие настолько полно, что ты не замечаешь, не оцениваешь. Это какой-то вечный праздник!»¹²⁰

Автор этого красноречивого и риторически занимательного текста – настоятель храма Св. Николая Чудотворца в селе Никольское-Гагарино протоирей Илья Валерьевич Дорогойченко и, кроме того, руководитель основанного им реабилитационного центра для детей-сирот¹²¹. Теологическая содержательность процитированного текста кажется поэтому оправданной вдвойне: призыв к восторгу не только контекстуально, но и событийно прочитывается в этом случае как призыв к деятельностному умилению и самозабвенной доброте. В этом тексте все правильно и с этимологической точки зрения, хотя «измерение времени» здесь и ни при чем. Слово «восторг» восходит к глагольной основе *търг– со значением «отрывать», «выдергивать», что придает ему известную специфику на фоне синонимически соотносимых с ним слов западноевропейских языков, сохраняя и сегодня, как показывает рассуждение того же отца Ильи, коннотативность представимо телесного – а у́же – рукотворного – действия (до начала XIX века эта коннотация актуально поддерживалась употреблением однокоренных слов «восторжение» в значении «отрывание» и «восторженный» в значении «вырванный»)¹²².

¹²⁰ Проповедь из вечернего богослужения накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы (опубликована в еженедельной газете храма Св. Николая Чудотворца в селе Никольское-Гагарино «Сретение» от 30 августа 2008 года (Вып. 31), электронная версия: http://www.damian.ru/vdohnov/sretenie/sretenie_31.doc).

¹²¹ См.: <http://vdohnov.narod.ru/>; <http://www.svobodanews.ru/content/Transcript/421134.html>; http://damian.ru/Cerkov_i_sovremennost/vdohnov/20080107/index.htm. В 2001 году отец Илья стал лауреатом премии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия «За подвижничество» (<http://lfond.spb.ru/prizes/asceticism/1997—2001.html>).

¹²² Словарь академии Российской по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806. Ч. 1. Стб. 691—692. Этимологическая ретроспектива «восторга» выстраивается как метафоризация действия, результирующего процесс «ручного» отрывания или выдергивания: др.-рус. търгати, ст.-слав. истръгнѣти (др.-греч. #νάρπάζειν), церк.-слав. тръгнѣти (σπ#ν). Ср.: укр. то'ргати «дергать, рвать», болг. търгам, словенск. tîgati, t#gam, чешск. trhati, словацк. trhat#, польск. targać, в.-луж. torhać, н.-луж. tergaś. Праслав. *търгати связано чередованием гласных с *търг– (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Т. 3. СПб., 1996. С. 83; Этимологический словарь русского языка. Т. 1. Вып. 3 / Под ред. Н.М. Шанского. М., 1968. С. 176). Лингвистическая спецификация русского слова «восторг» сравнительно недавно удостоилась патристических рассуждений Л.Н. Калинниковой. Обеспокоенная «реальной опасностью вестернизации России», автор рассматривает понятие «восторг» в иллюстрацию разрабатываемой ею методики «ресемантизации корневых этимонов», должной стать «основополагающим средством восстановления лингвистического кода национальной культуры и способом установления национальной идентичности». В данном случае «корневой этимон» слова «восторг» – ТОРГ(ать) – не только выражает культурное действие, сформировавшее семантическую структуру древнерусских слов со значением от-рыва, раз-рыва, вз-рыва, но и обнаруживает «славянскую по происхождению лексическую единицу, подчеркивающую нашу уникальность в восприятии действительности»: «Идея взрыва, мотивирующая значение слово *восторг*, раскрывает его истинный национально обусловленный смысл и дает носителям русского языка ощущение своей нации»

Интересно вместе с тем, что панегирик восторгу не имеет при этом в виду непосредственно «восторг молитвы». В данном случае он подразумевает скорее состояние эмоционального умонстроения, способность к радости, достаточным поводом к которой служит присутствие Христа, явившегося в этот мир с тем, чтобы «вернуть нам рай». Но даже и это объяснение в общем-то излишне, поскольку тот, кто не знает, что такое восторг, никогда этого и не узнает, а узнавшему его и так все понятно. Приведенное рассуждение легко оценить как псевдосиллогизм, но оно замечательно в том отношении, что помимо собственно теологического обоснования (безальтернативно апеллирующего к достаточности веры) такая апология восторга может служить примером воспроизведения устойчивой риторической традиции, имеющей непосредственное отношение к общественно-политическим дискуссиям XIX века о национальном само(о)сознании и небезразличной к традиции русского национализма.

Для просвещенной российской аудитории XIX века восприятие слова «восторг» не ограничивалось, конечно, богословским и, шире, религиозным контекстом. Последний окрашивает, но и осложняет общериторические и прежде всего поэтологические коннотации. И в Европе и в России представление о религиозном восторге сопутствует представлению о поэтическом и, в свою очередь, музыкальном воодушевлении¹²³. Стилистическая обязательность «восторга» и частотность его лексического присутствия у В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, М.М. Хераскова и других одописцев XVIII века позволила в свое время Г.А. Гуковскому настаивать на том, что восторг служит композиционной и стилистической основой русской оды¹²⁴, а Л.В. Пумпянскому усмотреть в одическом восторге своего рода геополитический смысл:

«Чтобы понять происхождение гениального дела 1739 г. (речь идет об оде Ломоносова на взятие Хотина. — К.Б.), надо вообразить ту первую минуту, когда восторг перед Западом вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой, как западной страной. <...> Следовательно одним восторгом можно исповедать и Европу и Россию! Это назовем “послепетровским” откровением (“вторым” откровением) русского народа. Именно с ним, т.е. с восторженным исповеданием *себя*, связано пробуждение ритма в языковом сознании. Более могущественного открытия никогда не переживал русский народ»¹²⁵.

Сравнительно недавно первый из этих тезисов получил развернутое обоснование в монографии Елены Погосян¹²⁶. Сложность соотношения религиозного, риторического

нальной идентичности в выражении этого чувства» (Калинникова Л.Н. Лингвистический аспект национальной идентичности // Известия КГТУ. 2007. № 11. http://www.klgtu.ru/ru/magazine/2007_11/doc/43.doc). Остается недоумевать, в самом ли деле Калинникова полагает, что «наша уникальность в восприятии действительности» коренится в этимологии, а не в языковой прагматике при использовании тех или иных лексических единиц? Между тем уже древнерусские книжники считали «восторг» допустимым синонимом к греч. «экстаз» (напр., при переводе Синайского патерика: εν εκστασις γενομενος — в вострѣзь бѣвъ), хотя в других случаях последний мог передаваться этимологически буквально, как «иступление», и ассоциативно, как «восхищение» и «воодушевление» (ср.: Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1. СПб., 1893. Стб. 425—426; Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.): В 9 т. / Гл. ред. Р.И. Аванесов. М., 1989. Т. 2. С. 134).

¹²³ Augner Ch. Gedichte der Ekstase in der Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Tübingen: Gunter Narr (Mannheimer Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft, Bd. 49), 2001; Irlam S. Elations. The poetics of enthusiasm in eighteenth-century Britain. Stanford: Stanford UP, 1999; Engel M. Die Rehabilitation des Schwärmers. Theorie und Darstellung des Schwärmens in Spätaufklärung und früher Goethezeit // Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert / Hrsg. v. Hans-Jürgen Schings. Stuttgart: Metzler 1994. S. 469—498; Clark M.U. The cult of enthusiasm in French romanticism. Washington DC (The Catholic University of America studies in Romance languages and literatures. Vol. 37), 1950. См. также: Гарднер И.А. Об инструментальной музыке и о хоровом полифоническом пении в Православном Богослужении // Православный путь. Приложение к журналу «Православная Русь». Holy Trinity Russian Orthodox Monastery. Jordanville, 1976 (<http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.gardner4>).

¹²⁴ Гуковский Г.А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927. С. 15.

¹²⁵ Пумпянский Л.В. К истории русского классицизма (поэтика Ломоносова) // Контекст. 1982. Литературно-теоретические исследования. М., 1983. С. 310.

¹²⁶ Погосян Е. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730—1762 гг. Tartu Ulikooli, 1997 (<http://www.ruthenia.ru/document/534616.html>). См. также: Живов В.М. Язык оды и церковный панегирик // Живов В.М. Язык

и «стихотворческого», поэтического восторга (восходящего к античной традиции представлений о самозабвенном воодушевлении ратора и поэта – *furor rhetoricus*, *furor poeticus*)¹²⁷, с одной стороны, и лексико-семантическая детализация самого понятия «восторг» останутся актуальными и позже. Так, Иван Рижский, настаивавший в своей «Науке стихотворства» (1811), что поэтика и риторика, как два «рода красноречия», равно «требуют восторга», далее специально разъяснял, «чем различен восторг стихотворца от восторга витии» (поэт творит, охваченный воображением, а ритор – действительностью) и в чем состоит различие в «родах восторга, свойственных различным родам стихотворений» (находя его в разнице «родов внутренних ощущений», вызываемых различием занимающих поэта предметов)¹²⁸. Иначе рассуждал Александр Пушкин, набрасывавший в конце 1825 или начале 1826 года свои возражения на статьи Вильгельма Кюхельбекера о поэтических преимуществах оды: восторг, по его мнению, связан с одой (которую, вопреки сказанному у Кюхельбекера, Пушкин противопоставляет здесь же лирической поэзии), а вдохновение – с эпическими, драматическими и лирическими жанрами, – не в пользу оды:

и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 243—264.

¹²⁷ Kositze B. *Enthusiasmus* // Historische Wörterbuch der Rhetorik. Hrsg. v. Gert Ueding. Tübingen: Max Niemeyer, 1994. Bd. 2. Spalt. 1185—1197; Galland-Hallyn P. *La rhétorique en Italie à la fin du Quattrocento* // Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne. 1450—1950 / Publ. s. la dir. de Mark Fumaroli. Paris: Presses Universitaires de France, 1999. P. 166—169.

¹²⁸ Рижский И. Наука стихотворства. СПб., 1811. С. 12—17 (§ 10—12).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.